

**Виктор
Александровский**

**ТЕПЛЫЙ
ДОЖДЬ**



**ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ**

**ТЕПЛЫЙ
ДОЖДЬ**

ПОВЕСТЬ



ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1982

ББК 84.3
Р 2
А 46

Художник
Г. В. АЛИМОВ

А 4702010200—51
М160(03)—82



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Последние сутки Лушкин в купе ехал один. Пассажиров, возвращавшихся с юга, становилось все меньше. Многие сошли на станциях Урала, Западной Сибири. А новых пожилая проводница рассаживала по другим купе, чтобы Лушкину было спокойней. Жалела бывшего фронтовика, видела, как он, припадая на левую ногу, тяжело и медленно ходит по вагону, как сидит иногда в раздумье с побледневшим от боли лицом.

Лушкин был благодарен ей, но разговоров не заводил. Сказал как-то, что возвращается из Крыма, что после лечения болезнь еще обострится на месяц-другой. А потом вдруг и полегчает.

Поезд застоялся на остановке. На перроне было пустынно и тихо. Шел медленный дождь. По вагонному стеклу, промывая светлые дорожки, сбегали редкие струйки воды. Зябли в привокзальном, закопченном паровозной гарью сквере молоденькие тополя. Их зелень была робкой, еще не набравшей силу.

На штакетной изгороди сквера под листвою деревьев прихорашивались воробьи. И воробьи эти напоминали Лушкину что-то важное. Он чувствовал, что это — важное, но что именно, никак не мог вспомнить. Дождь... И воробьи...

По соседнему пути загрохотал встречный. Косматая грива дыма, распадаясь, превращалась в сизую грозную мглу. Она оседала над перроном, и Лушкин вспомнил: хотелось пить. И виделось, что лежит он возле ручья, какой-то тяжестью неодолимой, вечной тяжестью налито все его тело. Каждая клетка его. И ручей течет мимо лица. Только крохотные брызги оседают на воспаленные губы, на словно каменные веки. И он открыл глаза. На кустах под березой сидели воробьи. Сизым дымом клубилось небо, и из него падали редкие капли. А дым этот истекал из догорающего неподалеку — перед разбитым мостом — немецкого «Т-IV» и тлеющей резины колес его, Лушкина, орудия. Он никогда не думал, что орудийные шины, набитые втугую гусматиком, могут тлеть, а они тлели, тягучий и нехороший запах полз над самой землей, мешаясь с яростным запахом сгоревшего бензина в танковом «майбахах».

Лушкин уже не смотрел в вагонное окно, в тягостной дреме ему виделась санитарная палатка... Он не мог вспомнить всего, что произошло с ним в первые годы скитаний по госпиталям. События, люди... все путалось. Перед мысленным взором возникали то чья-то фигура, то потолок, завешанный белыми простынями, или просто низкий, а возможно, казавшийся таким, поскольку и со зрением у Кузьмы что-то произошло и в глазах словно все время что-то плавало, то это был стук колес и чей-то голос, и в этом стуке он различал памятью своей позвякивание хирургических инструментов.

Он даже прошлой своей боли не помнил. Только неимоверная усталость, когда приходил в сознание, — это, пожалуй, самое страшное воспоминание — воспоминание об усталости. Это же надо, лежит человек неподвижно, ни руками, ни ногами не шевелит, а устал так, что порою все равно — жить или умереть.

И врачи сначала вернули ему боль. Вот эту вторую свою осознанную боль он помнил. И боролся с нею, и

искал от нее избавления, и сейчас отчетливо помнил, что и эта боль помогла ему вернуться к жизни. А потом все кончилось. Это сейчас ему казалось, что те два года, которые он пробыл на изживении медицины, прошли быстро, а тогда это виделось целой жизнью.

В конце концов однажды он предстал перед большой комиссией врачей. «Ну, склеили мы тебя, солдат, теперь хромай сам, — сказал главный хирург. — Одно тебе напутствие — ты должен хотя бы раз в год ставить нас в известность, как ты живешь, как себя чувствуешь. Запиши адрес, номер истории болезни и фамилию доктора своего».

Честно говоря, Лушкин не слышал всех слов, которые говорил ему главный хирург госпиталя, отпуская на волю, туда вон, где лупит во всю силу черемуха, видная из окна. Окна этого кабинета, расположенного на первом этаже, были все же высоко над землей, и он видел макушки солдат, долечивающихся здесь, бродивших сейчас по дорожкам госпитального парка, где оголтело орали птицы, заглушая чуть слышимое звяканье трамваев. Он не разобрал слов главного хирурга, потому что все это, вот это за окном, теперь имело прямое отношение к нему. Он и раньше, и вчера, и сегодня утром, и еще час назад слышал все это, но слышал каким-то посторонним слухом, как слышат соседи за стеной, как слышат разговор двух прохожих, как слышат то, что тебя касается постольку-поскольку.

Но от этого и от новой жизни его отделяло еще многое: и оформление документов, и прощание с товарищами, и долгий путь через госпитальный двор к зеленым воротам. Но он уже всей душой был там. А все, что ему оставалось здесь, — делал машинально.

На Волгу, в свое родное село Еловники Лушкин не поехал. Работать в поле ему было нельзя. И перед тем, как на вокзале взять билет по последнему воинскому требованию, он долго перебирал в уме возможные варианты. Он решил поехать в большой город на востоке, куда перед этим уехали многие из бывших его товарищей, и откуда они писали потом о добром народе, населяющем этот город, об огромной реке, текущей к океану, неумной в половодье, темной под ветром и солнцем.

Захотелось к воде, к речке, чтобы пахло травой и землей, как в Еловниках, потому что все реки в общем-то пахнут одинаково — юностью и детством, и родиной.

И в Еловники он не хотел ехать еще и потому, что уходил оттуда на фронт молодым, сильным, здоровым, а вернется уже изношенным по госпиталям, едва передвигающим ногами, со впалыми висками, с посерьезневшими уже навсегда глазами. Родных там у него не осталось: отец со старшим и средним сынами не вернулись с войны, а мать погибла в один из несчастных дней, когда немцы бомбили село.

Дорога была долгой, длинной, но стук колес ему уже больше не напоминал грохота санитарных поездов. Ни разу в жизни он не ездил так далеко и долго, как сейчас. Заря наплывала на зарю, шли смешанные леса, горы, потом они сменились полями, и леса эти, и поля, и горы, по мере движения поезда на восток, словно бы темнели ликом и становились суровее. Здесь иные дули ветра, покрепче были зимы.

Может быть, потому, что он был погружен в себя, в свои думы, он не завел среди попутчиков себе ни одного друга-приятеля, как ни длинной была дорога. А ведь все вагоны, весь поезд, все поезда, которые он догонял, все вокзалы слева и справа по ходу поезда были забиты людьми, точно вся Россия искала себе места в жизни. И в том плацкартном вагоне, в котором ехал инвалид Отечественной войны Лушкин, только ему дали возможность ночью одному спать на полке — на всех других полках и даже в любом свободном пространстве на полу спало по двое, по трое.

Не завел он себе друзей в дороге, один ехал искать инвалидного счастья.

Он нашел себе жилье — комнату у пожилой женщины, выглядевшей, впрочем, старухой, в деревянном покосившемся домике неподалеку от вокзала. И когда он обосновался там, когда разложил весь свой нехитрый скарб, когда повесил в углу свою солдатскую шинель, — старшина в госпитале дал в приданое, — когда побездельничал с неделю, медленно бродя по городу, понял, что надо идти работать.

Война тяжело прокатилась и по этим далеким от нее местам. Он своими, уже зрелыми глазами увидел, что улицы в этом городе заполнены только женщинами и детьми. Повывивало мужиков. И на завод мимо его окон шли густые женские толпы и молоденькие ребята. И мужчины там, в этой толпе были видны, как видны кедры в лесу, — редко и далеко.

И пошел Лушкин в заводууправление. Что он умел,

чему научился за свою короткую и долгую жизнь — заряжать пушку, подменять наводчиков, набивать табак папиросные гильзы или делать тампончики для процедурного кабинета — основное занятие госпитальных. И получается, что жил вроде человек на свете и не жил еще, все надо было начинать сначала. Он так и сказал об этом в отделе кадров, боясь отказа и поэтому стараясь выглядеть перед кадровиком молодцеватее, чем был на самом деле. Он нарочно оставил дома костыль и взял только палку — сучковатую палку, отделанную своими руками под трость, опираясь на которую ходил сейчас, чтобы не было заметно со стороны, что ему даже стоять трудновато.

На заводе его поставили к разметочной плите. Сначала учеником слесаря. Трата сил при разметке деталей была в общем-то небольшой, точность была нужна и умение прочесть чертеж.

Чугунная ровная плита, на которую ставили детали для разметки, высилась в дальнем углу механического цеха. На плоскостях стальных, чугунных, бронзовых деталей, смазанных мелом на густом клею, Диоген — старый разметчик — чертил круги, прямые линии, углы, а Лушкин керном ставил отметины. Потом по этим линиям и точкам на станках детали сверлили, строгали, обтачивали, фрезеровали. Лушкин хорошо понимал, как важна точность в его работе, и старался.

В цехе Лушкина оценили. Через год послали на юг в Евпаторию подлечиться. Потом еще послали, и вот он уже в третий раз возвращался с Черного моря.

Сквозь дрему Лушкин видел, как в купе появился пассажир. Грузный, рыжеволосый, в сером клетчатом пиджаке и синей рубашке; с красным от хмеля лицом, он широко открыл дверь, шумно, с грохотом задвинул ее и, бросив в угол на сиденье небольшой потрепанный чемодан, так же шумно сел напротив. Несколько мгновений он сидел и, шурясь, смотрел на дремавшего перед ним человека, потом, тяжело вздохнув, привалился спиной к стенке и тоже закрыл глаза.

Под качающимся вагоном глухо постукивало, поскрипывало; склоняло на сон, и вошедший заснул. Но ненадолго. Что-то его внезапно разбудило. Не голос это был, не стук открываемой купейной двери, а словно кто-то коснулся его века, и он открыл глаза. И он даже вздрогнул, когда наткнулся на пронзительный взгляд сидевшего напротив. Это был все тот же со-

сед по купе — теперь он опирался подбородком на трость и, не отрываясь, смотрел на него.

А новенький не сразу узнал этого человека, младше его по возрасту, с туго зачесанными назад черными жесткими волосами, худощавого, с чисто выбритым загорелым лицом. И чувствуя, что холодный пот выступает у него на висках, вспомнил...

Узнал его и Лушкин: это был Гарпунин. Илья Гарпунин.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Это случилось десять лет назад. В тот тихий предвечерний час Кузьма Лушкин возвращался с завода. Прихрамывая, опираясь на палку, он устало шел по пыльной мостовой переулка к своему покосившемуся деревянному домику.

Весна дурманила голову. И неизвестно отчего вдруг возникла и окрепла тоска по такому родному и такому далекому селу — Еловникам. Наверно, от этого он и не придавал сначала значения каким-то крикам. Крик повторился — сдавленный, жуткий — на пределе человеческого ужаса. Лушкин очнулся. Кричали где-то не вдалеке — рядом, в подъезде трехэтажного дома, у которого он стоял. Он захромал на крик, перепрыгнул канаву, оступился, чуть не взвыл от боли, но не остановился.

Лушкин подоспел вовремя: на лестничной площадке второго этажа пьяный рыжеволосый верзила пытался втащить в открытую дверь отбивавшуюся от него хрупкую девушку в темном комбинезоне. Широкой ладонью пьяный зажимал девушке рот, и Лушкин понял, почему так неестественно звучал ее крик.

С ходу Лушкин шарахнул верзилу палкой по голове, палка сломалась, а верзила выпустил из рук девушку.

Свалить Лушкина — еще худого тогда и щуплого — можно было запросто. Но пьяный, обхватив Лушкина своими медвежьими руками, поволок его к лестнице. «Столкнет», — сообразил Лушкин, и фронтовая смекалка помогла ему: упершись обеими руками в горячее пьяное лицо, он с силой отгибал его от себя, пока тот не взвыл и не рухнул на пол.

— Вот так и сиди, сволочь, пока не протрезвеешь!

А потом я тебя, морду, еще в милицию сдам,— задыхаясь от злости и боли, сказал Лушкин, сказал больше для девушки, а не для рыжего.

Но девушка почему-то не ответила. Тоненькая, с перехваченной ремешком талией, прикрыв лицо дрожащими руками, она стояла подле Лушкина, судорожно всхлипывая. Темный хлопчатобумажный комбинезончик ее был в известке, в пятнах масляной краски. «Малярша. На ремонте дома работает. А этот не из той же ли бригады?» — подумал Лушкин. Верзила тоже был в робе.

— Ну, что будем делать? — спросил он девушку. Но та, с испугом глядя на рыжего, продолжала всхлипать. — Что же ты молчишь? — уже строго спросил Лушкин. — Ты его знаешь? Вы что, вместе работаете?

Девушка не отвечала. В сумерках ее лицо, заплаканное, полное страдания, показалось ему некрасивым.

— Как зовут-то тебя? — снова спросил Лушкин, но в ответ услышал лишь что-то невразумительное.

— Что, что ты сказала?

Девушка, мотая головой и жестикулируя, продолжала неестественно громко и монотонно выговаривать.

— Успокойся! — сказал растерянню Лушкин, поняв наконец, что перед ним глухонемая.

— Ай-гуль... Ай-гуль, — тыча себя всеми пальцами в грудь заученно-раздельно и каким-то неживым, бесцветным голосом произнесла она.

— Айгуль, — догадался Кузьма.

Тем временем рыжий очнулся. Он уже начал подниматься.

— Убью, пьяная морда, понял? — сказал Кузьма и потребовал: — А ну, давай документы! — и, отведя его кулаки, — ничего лучшего не придумал, — сам залез под робу, в карман его пиджака. Там оказался паспорт.

— Завтра получишь по месту работы. Попался бы ты мне на фронте, сволочь! — и он махнул рукой девушке: — Пошли, Айгуль!

Только когда они покинули подъезд, Лушкин почувствовал, как дрожат его руки и ноги, как болит поясница, как ломит, словно его выворачивает, левое бедро. Того, что произошло на лестничной площадке, Лушкину было более чем достаточно.

Они простились. Лушкин сделал несколько шагов по тротуару, но доски прогибались под ним и идти здесь он не мог. Почти на четвереньках, потому что палки

у него уже не было, выбрался на шоссе, распрямился, постоял, собираясь с силами, заковылял дальше.

Он не видел, что все это время Айгуль, отойдя совсем недалеко, смотрела на него, не понимая, что с ним, а когда поняла, то не выдержала. Она догнала его, взяла под руку, точно принимая на себя часть его тяжести, и медленно пошла рядом. Она прошла так весь путь до самого дома, и там, на крыльце, не отпуская его, ждала, когда откроют.

Гремя засовом, словно специально поджидала, сходя, сгорбившаяся старуха открыла дверь. У нее были добрые, бесцветные глаза, и она не удивилась почему-то, увидев их двоих, посторонясь, пропустила в дом. Айгуль, вероятно, думала, что старуха — мать Лушкина. Она хотела объяснить, что с ними произошло, почему они вместе, но говорить с незнакомым человеком, не помогая себе руками, стеснялась, а руки у нее были заняты — теперь она почти волокла Лушкина на себе.

Но старуха не удивилась ничему. Лушкин жил у нее около года.

Справа от входа в комнату, маленькую, с единственным окном, стояла узенькая, по-солдатски застеленная суконным одеялом кровать, а напротив нее у окна валялось несколько пустых фанерных ящиков, лежали клещи, молоток и содранная с ящиков фанера.

Старуха недоумевала, почему девушка не понимает ее — куда сдвинуть подушку, чтобы Лушкину было удобнее лечь, какую из табуреток подставить ему под неразутые еще ноги, и потому старалась больше делать сама. Это волновало Айгуль, заставляло нервничать. Все у нее получалось невпопад. Даже тогда, когда вместе со старухой пришлось укладывать Лушкина на кровать, она, не слыша протестов хозяйки дома, отодвинула табуретку и принялась расшнуровывать его ботинки. «Так-то удобней будет», — говорил ее сочувственный взгляд. А старуха вдруг перестала говорить, и по тому, как она внимательно поглядела Айгуль в глаза, та догадалась: старуха поняла ее глухоту.

Оставшись наедине с Лушкиным, Айгуль поправила ему подушку и села на табуретку поближе к изголовью. «Больно тебе очень?» — спрашивал ее все тот же сочувственный взгляд, но Лушкин не видел его. Первые несколько минут он лежал, упершись невидящими гла-

зами в потолок, и только когда отпустила боль, в полумраке наступившего вечера заметил девушку.

— Зажги свет, — попросил он, показывая пальцем на выключатель, и Айгуль, поняв его, тотчас выполнила просьбу. Яркий свет электрической лампочки заставил обоих зажмуриться.

— Как... зовут тебя? — спросила она своим странным голосом.

— Кузь-ма, — ответил, деля слова на слоги, Лушкин. — Кузь-ма меня зовут.

— Кузь-ма? — Айгуль непонимающе замотала головой.

— Кузь-ма, — повторил Лушкин, еще более стараясь, чтобы по движению губ Айгуль разобрала его имя.

Но Айгуль все так же непонимающе смотрела на Лушкина своими черными с-раскосинкой глазами.

У Лушкина неожиданно вырвалось:

— А ты, оказывается, ничего!

К удивлению Лушкина, Айгуль громко рассмеялась.

Соскочив с табуретки, она подбежала к груде фанерных дощечек в углу, выбрала одну, что поровнее, отыскала у себя в боковом кармане комбинезона огрызок карандаша и, присев у изголовья Лушкина, написала на фанерке красивым ровным почерком:

— Я Айгуль, а ты?

— Кузьма, — нацарапал тем же огрызком карандаша Лушкин.

— Кузь-ма!.. — глаза Айгуль заблестели. — Спасибо тебе, Кузьма.

— За что? — смутился Лушкин и снова нацарапал:

— Это у меня с фронта. Ранение, понимаешь?

Она ответила ему на дощечке:

— Да, я сразу поняла все.

Айгуль, конечно, могла бы и не пользоваться дощечкой. Она говорила, хотя и ничего не слышала, и Лушкин бы ее понимал. Но так как сама девушка пока еще с трудом воспринимала сказанное Лушкиным, она решила вести диалог на равных — с помощью дощечки.

Несколько мгновений они молча рассматривали друг друга. А Лушкин отмечал про себя, что брови у девушки такие же черные, как глаза, а волосы еще чернее, даже с синеватым отливом, и собраны они в тяжелый узел туго, чтобы не рассыпались во время работы.

— Ты не русская? — написал Кузьма на фанерной дощечке.

— Нет, — написала она и лукаво прищурилась.

— Казашка? — написал Лушкин.

— Нет, — отрицательно качнула головой.

— Татарка?

— Нет.

— А кто же ты?

— Узбечка. Я родилась в лунную ночь. Родители называли меня Айгуль. По-русски — Цветок луны.

— Красивое имя. Сколько тебе лет?

— Восемнадцать. Тебе?

— Двадцать три.

Буквы у него выходили косые — бил озноб. Руки дрожали — после приступа так с ним было всегда.

Небольшая фанерная дощечка уже не вмещала слов. Айгуль взяла с подоконника другую. Кузьма написал:

— Два года госпиталь. Потом год учился ходить.

Старуха принесла в кружке какой-то зеленый отвар и заставила Лушкина выпить до дна. И опять ушла.

— Ты не сердись на нее, — с трудом выводя буквы, снова начал писать Кузьма. — Она добрая.

— Это мама? — осторожно взяв из рук Кузьмы карандаш, написала Айгуль.

— Нет, хозяйка, Дорофея. Комнату у нее снимаю.

Зеленый отвар подействовал, ему стало теплее. А может, сыграло еще и другое — рядом сидела такая милая, милая девушка.

— Есть хочешь? — написал он.

— Мне пора, — ответила Айгуль. — Общежитие закроют. А тебя я буду помнить, Кузьма. Спасибо! — на глазах у нее выступили слезы, и вдруг она наклонилась над Лушкиным и поцеловала его.

— Ну нет, этим ты не отделаешься, — рассмеялся Кузьма. — Поужинаем вместе, потом отпущу.

— Я не хочу есть... — замотала головой Айгуль.

— Зато я хочу. Нельзя бросать больного человека! — Кузьма решительно отложил карандаш.

Лушкин начал вставать, но снова выстрелом ударила боль в пояснице. «Так я и знал», — в каком-то отчаянии подумал он, почти теряя сознание.

«Что с тобой?» — спрашивал встревоженный взгляд девушки.

Дорофее, снова появившейся в комнатке Лушкина,

той не надо было объяснять. Пока Айгуль пристраивала на табуретке поднос с едой и помогала Лушкину повернуться на спину, Дорофея успела заправить горячей водой резиновую грелку. Она знала и как поставить ее Кузьме, принесла для надежности свою подушку. Но Лушкину не сделалось легче. Острая поясничная боль захватила уже область спины и бедер, и глаза застлал непроницаемый липкий туман.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лушкин бессмысленно смотрел в потолок и ему мерещилось, как, все увеличиваясь в размерах, на него ползет немецкий танк. Ему даже казалось, что он слышит лязг гусениц.

Айгуль, подсевшая на краешек узенькой солдатской кровати в ногах у Лушкина, не понимала этого. Она видела, что человеку просто плохо, что неожиданный ее спаситель сам находится сейчас в тяжелом положении. Она понимала, что он был на войне и был ранен там, но что сейчас, в это мгновение, он опять вернулся в ту, свою прежнюю жизнь, жизнь на войне, вернулся весь без остатка, так, словно все это происходило наяву, а не в его воспаленном мозгу, — этого она не понимала.

...Поблескивая в лучах закатного солнца, катился, покачиваясь на неровностях луга, к мосту танк. И то, что видел сейчас Лушкин, отличалось от того, что он видел на самом деле, лишь тем, что к страху, испытанному им тогда, прибавлялось знание того, что будет дальше.

Там, в окопе на релке, среди беспросветной болотной жижи, втянув голову в плечи, прячась за короткий щит «сорокапятки», он мог только догадываться, ставя себя на место немцев, сидящих в танке, только мерить по себе, когда немцы обнаружат его одинокое приумолкшее орудие и обнаружат ли, когда поймают эту крохотную цель в свою цейсовскую оптику и когда ударит их восьмидесятимиллиметровая пушка.

Сейчас он знал, когда она должна ударить, потому что уже однажды так случилось: вот докатят гусеницы угловатый корпус машины до жиденских березок, и сверкнет ослепительное рваное пламя танковой пушки. Вздыбится земля пополам с ржавой болотной жи-

жей в десяти метрах от орудийного окопа, и еще не опадет она вниз, как секанут по брустверу тяжелые германские пули, и первая же очередь чуть не разрежет пополам командира орудия. И страшным покажется цвет черной сытой земли, перемешанной с темной человеческой кровью...

Лушкин даже не почувствовал, как впал в обморочное состояние.

Дорофее не впервой было видеть Лушкина таким. Когда он появился у нее, она далеко уже не зоркими своими глазами сумела разглядеть и тень тяжелого страдания на его сухощавом, обесцвеченном, почти прозрачном лице, и то, что он стоит перед ней из последних сил.

Она не собиралась сдавать комнату. Она давно привыкла жить одна, потому что сын ее погиб на фронте еще в начале войны. Дочь ее незадолго до войны вышла замуж за военного в зеленой фуражке и уехала с ним на запад, на границу, и с той поры от нее ни слуху, ни духу. Трудно это — считать неживыми своих детей, но это было так.

Прозрение пришло к ней внезапно, что-то такое однажды ночью умерло в ней, что-то такое произошло однажды в мире и отозвалось в ее душе непоправимо, что она поняла — вот и началось ее безоглядное, бесконечное, до самой гробовой доски на знакомом, за железнодорожной линией кладбище, одиночество.

Дорофея ни о ком не заботилась, уже забыла, что значит заботиться о ком-нибудь. И на всем приусадебном огороде под окнами ее дома зеленели с весны до поздней осени лишь три грядки, где росли картофель, две плети огурцов, лук, да с десятков корней помидоров. Больше она ничего не садила, да и не было в этом нужды.

Поначалу она еще надеялась, что и сын, несмотря на полученную ею похоронку, с подписями и печатью какой-то части, в которой он служил и погиб, или дочь с мужем вернутся, наконец, сюда, домой. И вот она почти поверила в долю того, чего ей хотелось, увидев в своем доме еле державшегося на ногах пришельца. Дорофея подумала, что это ее зять, невесть откуда явившийся, невесть как уцелевший на войне — она забыла его лицо, — но потом в ее усталом, одиноком уме родилась мысль, что уцелеть он не мог. Война первыми уложила тех, кто был в зеленых фуражках. Но

она поняла, что, если она откажет этому, стоявшему в дверях хилому человеку, он отойдет от ее дома не далее трех шагов, а она совершит большой, непоправимый грех. И она пустила Лушкина, не договариваясь с ним ни о чем. Она цепко взяла его за рукав выцветшей гимнастерки, провела в угол комнаты, в которой когда-то жил ее сын и в которой осталась его железная кровать, положила на нее матрац, тоже принадлежавший ее сыну, его же подушку и старое суконное одеяло. А когда Лушкин наклонился над кроватью, чтобы снять свой рюкзак, не зная почему, положила свою ледяную руку на тощий, горячий его затылок. И жалостью, и какой-то возродившейся радостью загорелись ее щеки, ощутив живую, будто сыновнюю плоть. Она почувствовала, как в ее почти умершем теле что-то дрогнуло и ожило.

Все это время она видела, с какими трудностями пробивается к жизни Лушкин. Они почти не разговаривали. Но она и прежде-то, когда была молодой, слыла молчаливой. «Как каменная», — говорили люди. Оттого и не водилось у нее подруги, потому что не выскажешь ей бабью боль, она все равно промолчит и не выдаст ничего своего. А это все равно, что говорить перед камнем, перед стенкой. Но видеть — она видела все. Вернее, сейчас, с приходом в ее жизнь Лушкина, она училась снова видеть.

Она видела, как Лушкин упрямо разминался по утрам, делал первые шаги, стискивая порой зубы до хруста и бледности на лице, как стонал по ночам от боли, и несколько раз случалось так, что, уронив что-нибудь на пол и не ожидая, когда ему помогут, он долго силился, примерялся, стараясь сделать все сам.

Иногда она думала: какая же это мука — так жить! Такой слабый с виду человек, и такая в нем сила! И ей становилось стыдно за себя, что во внутренней глухоте прошли у нее все эти годы. А ведь у нее все есть: руки, ноги, сердце бьется размеренно и четко, воздуха хватает ей. А ведь надо же — умерла. Умерла еще при жизни, словно пролежала все эти годы, не вставая с постели.

Несколько раз с завода, где работал Лушкин, товарищи привозили его на машине и вносили в дом, бережно и осторожно, и оставляли, считая Дорофею его матерью. Постепенно она научилась, что надо делать во время приступов болезни у него, хотя и не зна-

ла названия его недуга. И она не удивилась, увидев Лушкина почти висющим на плечах у хрупкой, тоненькой девушки с виноватыми, но какими-то удивительно говорящими глазами. Они сразу запомнились ей, остановили ее внимание, и когда Дорофея пошла в дом, она несколько раз оглянулась на них, на эти глаза.

Лушкин пришел в себя на рассвете.

Накинув старухин цветастый халат, с осунувшимся от бессонницы лицом, Айгуль сидела у его изголовья, упершись подбородком в кулачки поставленных на колени рук, и дремавшие глаза ее радостно дрогнули, как только взгляды их встретились.

— Кузьма!.. — услышал он ее громкий протяжный голос, и голос этот почему-то не показался ему странным. И Лушкин, подчиняясь какой-то неведомой силе, протянул девушке руку.

— Ты всю ночь просидела здесь?

— Как ты, Кузьма? — спросила она так же громко, сопровождая каждое сказанное слово жестами, и Лушкин, следя за движением ее тонких, гибких рук, за трепетом ее милого ему теперь лица, сияющих глаз, понимал так, как будто она говорила нормальным человеческим голосом.

— Да ты же умеешь говорить! — сказал он, и Айгуль поняла его и взмахнула руками. Очевидно, она уже присмотрелась к движениям его губ и им обоим теперь не нужно было писать на дощечке то, что они хотели сказать друг другу.

— Я буду учить тебя азбуке глухих. Меня ты слышать не научишь.

— Да, да, научи! — закивал и заговорил Лушкин. За ночь утихла боль, и он даже не заметил, что привстал на кровати.

— Это буква «а»... — нараспев сказала Айгуль, протягивая в сторону правую руку с сжатым кулаком. — Понятно?

Лушкин тоже сказал «а»..., вытянув кулак, и Айгуль весело захлопала в ладоши.

— А это «б»... — словно гипнотизируя своего ученика и не давая ему отвлечься на что-нибудь другое, продолжала девушка.

Согнутые пальцы ее вытянутой правой руки изображали что-то похожее на букву «б», и Лушкин не без труда скопировал ее жест. Но тут, забыв, что она не слышит, начал говорить, что азбуку он выучит всю,

только потом, потом, в следующий раз, а сейчас она должна научить его изображать ее имя.

Айгуль недоуменно пожала плечами. Тогда он написал это.

— Смотри! — тотчас весело откликнулась Айгуль. И показала, как изображать ее имя руками.

Ее руки летали легко и свободно, это были говорящие руки, только Лушкин не знал еще их языка. И по его растерянному лицу она догадалась, что он не понимает ее. И тогда она повторила снова, четко показывая каждую букву отдельно:

— А-й-г-у-л-ь.

Но Лушкин снова не понял, потому что все это время с восхищением глядел ей в лицо — и когда она произносила слова своим неживым голосом, пришедшим словно из другого мира, и когда она вглядывалась в него, чтобы понять артикуляцию его губ.

Оно жило, ее лицо, своей необыкновенной жизнью: мгновенной радостью отзывалось в нем все — и губы, и глаза, и брови, и кончик носа на каждый понятый ею звук. И губы ее трепетали наверное оттого, что она молча, про себя, пыталась изобразить то слово или букву, которые пытался изобразить губами и всем своим видом Лушкин. И в глазах ее, молодых, восемнадцатилетних глазах, полных радости и добра, обращенных к Лушкину, где-то там, в их глубине, пряталась неуловимая темнота или боль. Она была похожа на дикого журавля, который слышит далекую и неповторимую музыку.

Когда она окончательно убедилась в беспомощности Лушкина, она взяла его руку, правую его руку, и сама начала складывать ему пальцы так, чтобы получилось на языке глухих ее короткое имя — Айгуль.

— К-у-з-ь-м-а, — стараясь четко проговаривать каждую букву, подкрепляя ее своей необычной для Лушкина «азбукой», громко произнесла его имя Айгуль и, улыбнувшись, добавила: — Ай-гуль. Поправляйся бы-стрее. — И исчезла в дверях.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вот уже сутки, находясь друг от друга лишь на расстоянии полутора-двух метров, ехали Лушкин и Гарпунин в одном купе. Узнав друг друга, они сделали вид,

что никогда, нигде не встречались. Тягостным было для обоих прошлое. И хотя с той далекой встречи на лестничной площадке жилого трехэтажного дома прошло уже десять лет, память Лушкина хранила все подробности.

Помнил он, как Айгуль во второй свой приход к нему, еще больному, рассказала страшную историю своего детства. Она оглохла, когда ей было семь лет. Перевернулась на Оби лодка, в которой она с отцом и матерью в ледоход переплывала на другой берег. Айгуль почти не помнила, как это было. Она помнила только, как ее одну сняли с льдины солдаты — родителей больше не было.

Она долго болела, от воспаления легких ее вылечили, а от глухоты — не спасли. Постепенно, час за часом, Лушкин узнал в тот вечер всю ее прошлую — до него, жизнь. И то, как жила в детдоме, как училась в строительном ФЗУ, как просилась потом сюда, на стройку, как не хотели ее, глухую, брать. И все-таки она своего добилась.

Айгуль рассказывала жестами, игрой рук и пальцев, помогая Кузьме понимать слова неслышными, но выразительными движениями губ. И, смотря на нее, он отвечал ей тем же — руками, губами, всем лицом, всем существом своим, но при этом почему-то сильно кричал, и когда вдруг услышал, что кричит, рассмеялся.

Появилось в их разговоре и в их отношениях в этот вечер что-то такое, в чем Лушкин не смог бы сразу разобраться. Ему хотелось только одного: чтобы Айгуль не уходила в общежитие, чтобы вот так они пробыли бы вместе весь вечер, всю ночь до утра, а рано утром вместе пошли бы на работу. Что-то невыразимо нежное ворохнулось в душе Лушкина...

Когда-то давным-давно, в юности, в довоенной, которую Лушкин уже и не помнил, (а если и помнил, то как будто отдельно от себя, как будто эта юность не его) у Лушкина была девчонка в Еловниках на Волге.

Наташа жила в крайнем доме возле школы. По утрам выгоняла корову в стадо. Шла она в отцовском пиджаке и в сапогах на босу ногу, и глаза ее были чисты, как вода из колодца, и Лушкину, смотревшему на нее сквозь плетень, почему-то казалось: подойдет он сейчас к ней и почувствует — пахнет она не то талым снегом, не то солнцем. Не сразу он понял, что влюб-

лен. И учились вместе, и ходили домой после школы вместе, и за косы он ее таскал, а вот поди ж ты, не замечал до этого ничего.

Но однажды что-то случилось. Наташа оказалась рядом с ним после долгой ходьбы, и в самую душу повеяло опасно и жарко, так, что подкосились ноги и зашлось дыхание ее запахом.

Потом была война. Учебный отряд, занятия до седьмого пота: «Заряжай!..», «Разряжай!..», «Танки справа!», «Вставай... Ложись... Перебежками!», когда пытались в их молодые головы и неокрепшие руки за несколько десятков дней вогнать весь опыт и ярость грозного солдатского дела. И он забыл об этой своей любви. Так она и осталась на краю памяти, как девушка на косогоре перед летящим мимо поездом — вровень с окнами вагонов, вровень с сердцем Лушкина, вровень с его глазами.

Айгуль сидела здесь, сейчас, рядом. И не гадал он, что у них будет и будет ли, и как это будет. Полюбит ли она его или любит уже? Ни на один из этих вопросов ответа ему не требовалось. С того самого мгновения, когда он, скованный болезнью, беспомощно лежавший на койке, в полудремоте, открыл глаза и увидел ее лицо, он уже не отделял ее от себя, он уже не мыслил, что когда-нибудь придет домой, а ее нет. Он даже не понимал, почему у нее существует свой дом отдельно от его дома, почему у нее свои друзья, которых он не знает, и которые не знают его, а знают ее одну. Он не понимал, почему она должна уходить сейчас отсюда, потому что, ему казалось, если она сейчас уйдет, то уйдет навсегда и он никогда уже ее не увидит.

— Не уходи, — схватил он и в волнении крепко сжал ее тонкие пальцы в своих руках.

Айгуль ничего не сказала и ушла. За окном промелькнул тяжелый узел ее волос. Лушкин хотел подняться, распахнуть окно, крикнуть ей вслед, чтобы она вернулась, но не смог этого сделать. И она ушла, как выпала из рук. Он почувствовал себя вдруг обессиленным и пустым.

Лушкин провалялся еще три дня, хозяйка вызывала врача. Медицина приезжала на легковой машине. Предложили идти в больницу, даже предлагали отвезти, но после госпиталя он ни разу не лежал в больнице и поклялся не лежать в ней никогда. Он знал,

что наступит такая пора, он наберется сил и одолеет свой недуг.

В пятницу, возвратясь с работы, уже в сенях, он услышал ее голос. Айгуль разговаривала с Дорофеей. Говорила она ровно и громко, и медленно, отчетливо произносила каждый звук, и поэтому в ее словах словно не было ударений и не было пауз, они выходили у нее как отвлеченная информация, без личного отношения к тому, что она говорила.

Сердце у Лушкина обмерло, он помедлил перед дверью и потом открыл ее. Дорофея угощала Айгуль чаем. Они сидели друг перед другом за маленьким кухонным столиком, и Айгуль оказалась спиной к Лушкину.

Но он еще не открыл полностью двери, чтобы войти, а она уже оглянулась. Потом он понял, как это происходит с ней: она, не слыша ни звука, всегда знала о появлении рядом человека, тем более близкого; и движение воздуха, и излучаемое им тепло или холод, если человек пришел с мороза, — эти волны добра или зла, которые она умела каким-то особым даром воспринимать. Она обернулась, и Лушкин увидел перед собой ее горящие глаза. Он застыл в дверях, привалясь к косяку, и некоторое время стоял так.

— Ну вот, слава богу, — сказала Дорофея. — А мы тут заждались. Айгуль давно пришла, у нее сегодня короткий рабочий день.

Хозяйка оставила их вдвоем. И теперь он сидел напротив Айгуль, там, где до этого сидела Дорофея. Они смотрели друг на друга и ни о чем не хотели говорить. И вдруг Лушкин, неожиданно для себя сказал ей:

— Ты больше не уйдешь от меня.

— А ты не хочешь, чтобы я уходила?

— Да, — сказал Лушкин, — я не хочу, чтобы ты уходила.

Так и началась их жизнь.

Утром она отпросилась с работы. Подруги помогли ей перенести нехитрые вещи из общежития. И когда в половине шестого Лушкин вернулся с завода, его маленькую, по существу, солдатскую комнатку было не узнать.

Ничего особенного в ней не появилось: ни салфеток, ни занавесок, их, наверное, не было и у самой Айгуль. Но на тумбочке возник будильник, на подокон-

нике стояло ее зеркало, справа от входа на полу — два небольших чемодана и какой-то узел.

Так же, как и всегда, была застлана постель, но комната словно посветлела. Во всем чувствовалось уже присутствие женщины, словно она пробыла здесь не только ночь и этот день, а многие годы.

Поздно ночью он вспомнил про паспорт Гарпунина, достал его, зажег свет и показал Айгуль.

— Ну и что с ним делать?

Айгуль засмеялась:

— Конечно, он гадкий человек, — сказала она. — Но мы должны сказать ему спасибо. Его на свадьбу звать надо, ведь это он познакомил нас с тобой.

Лушкин долго смеялся.

— Ну и мудрая ты!.. — И на утро, еще раз ознакомившись с паспортом Гарпунина, отнес в ремонтно-строительное управление, в отдел кадров — мол, случайно нашел.

Но до этого была еще целая ночь впереди. Оба они, конечно, не спали. Все произошло так, как он представлял. Первая близость с женщиной ошеломила Лушкина. Рядом с ним, отдавая ему свое тепло и принимая его тепло в себя, придавив нежной тяжестью головы его руку, тихо дышала женщина — Айгуль...

Он испытывал какое-то смешанное чувство. Здесь была и жалобная какая-то нежность, благодарность, от которой ему трудно было дышать, и восторг. И чувство гордости за самого себя.

Он лежал на спине, боясь шевельнуть рукой под головой Айгуль, чтобы не потревожить ее. Медленно шло время, и все же оно шло. Он уловил тот момент, когда посветлело окно. Сколько на фронте не спал ночей, сколько перенес подъемов и тревог, но еще ни разу не видел, в какое мгновение может дрогнуть тьма ночи и начаться рассвет. А еще хотелось ему увидеть ее без одежды, какая она? Он так и хотел сказать ей: «Айгуль, встань, я посмотрю на тебя». Но не сказал. И уснул, не заметив этого. А когда проснулся, было уже утро, и солнце золотило их маленькую комнату — он проснулся оттого, что Айгуль, смеясь, будила его.

Ни ей, ни ему не надо было спрашивать ни у кого разрешения. И она и он решили свою судьбу сразу — он боялся увидеть на ее лице тень раскаяния или сомнения, но не увидел. И отметил про себя, что смех ее, хоть и ломкий, так же многогранен и красочен, почти

так же звучен, как и у людей, не страдающих глухотой.

Дорофея приготовила им завтрак, оставила его на кухне на столе, а самой хозяйки дома не было.

Вечером сошлись подруги Айгуль — девчонки из общежития и женщины из бригады. Пришла Дорофея, села у краешка стола. Было трое ребят с завода. Вот и вся свадьба.

Айгуль оказалась хорошей хозяйкой. Она привела в порядок всю одежду Лушкина, как-то сразу взяла бразды правления в свои руки и подружилась с Дорофеей. И та однажды, уловив момент, сказала Лушкину:

— Повезло тебе, Кузьма, с женой, и не дай бог сказать, что она глухая. Она лучше нас с тобой слышит.

В это же время, буквально через несколько дней после свадьбы, у Лушкина случился еще один праздник. И может быть, изо всех праздников его жизни этот был самым особенным: ему присвоили разряд слесаря-разметчика.

На войну Лушкин пошел почти мальчишкой. Он умел косить сено, поправить забор, натаскать воды для скотины. В хозяйстве было две чушки и корова черно-белой масти и совершенно нелепой кличкой — Мурка. Ее так и покупали с этой кличкой на ярмарке в Еловниках. Корова стояла в отдалении от остальных, и на рогах у нее висела табличка, на которой старательно, химическим карандашом было выведено: «Мурка». Почему Мурка, этого никто не мог сказать, даже сам хозяин, который продал ее — подслеповатый лысый старичок, а мать, видно, из жалости к животному, настояла на том, чтобы купить Мурку, и корова оказалась молочной и покладистой.

А еще из скотины, для которой, собственно, и таскал Кузьма воду, был козел Васька, существо крайне нахальное. Его можно было даже держать вместо собаки. Он, конечно, не лаял на чужих, потому что не мог, но орал, дурак рогатый, когда кто-нибудь чужой показывался на дворе.

А в сорок втором, когда Лушкина призвали в артиллерию, он научился там стрелять из «сорокапятки», в учебном отряде было по одной «сорокапятке» на батарею. Поначалу они занимались на кое-как сколоченных деревянных макетах, покрашенных в защитный цвет. Краска была не масляная, а клеевая, и после каждого дождя артиллеристам приходилось их красить

заново. Он изучил уязвимые места немецких танков «Т-III», «Т-IV», еще до первого прикосновения к замку настоящего орудия, он знал, что надо бить в гусеницу и в борт под основание башни и по жалюзям мотора. Он узнал, что сорокапятимиллиметровый снаряд этих пушечек на расстоянии прямого выстрела одолевал сорокапятимиллиметровую крупновскую броню. Своей брони этот снаряд не брал — пробовали на полигоне. Там стояла сгоревшая «тридцатьчетверка», по ней били бронебойными снарядами, и там впервые в жизни Лушкин увидел, как снаряд, ударив о броню и выбив из нее какое-то светлое, словно новорожденное пламя, с воем и визгом, оставляя после себя красный след, уходил к дымчатому небу. Здесь особенно понимались и бессильная ярость снаряда, и уверенная стойкость брони. Помнится, у Лушкина даже мелькнула мысль: «А ну, как и от «Т-третьего» будет отлетать так же?» Тогда-то холод близкой войны, близкой опасности коснулся его впервые.

Как-то быстро заматерели и набрали силу его юношеские мышцы. Всего несколько десятков подъемов и отбоев, тревог и марш-бросков, несколько отрытых огневых позиций, строевая на раскаленном солнечном жарком плацу, перетаскивание ящиков со снарядами или, вернее, просто ящиков, в которых вместо снарядов строго по весу были заложены кирпичи. И как-то быстро из его сознания ушло штатское неприятие бесполезной работы: «На кой черт таскать эти никому не нужные кирпичи?» На фронте он окончательно понял эту суровую необходимость «выматывания» сил.

Он научился разводить костры на ветру, греться собственным дыханием, научился спать в сырой траншее, засыпать на ходу во время марша, когда расчеты шагали позади своих пушек. Но для этого ему надо было чувствовать хотя бы одним плечом плечо соседа. Стоило только исчезнуть этому ощущению близости, товарищества, как он просыпался.

Он понял и то, что формула: «Сам погибай, а товарища выручай!» — начинает жить не от щедрости только одной, а еще и потому, что с другою формулой на войне не выживешь, и не победишь. Там ведь не приходят такие мысли: «Кто ценнее — я или ты, ты или он?», не съедают душу колебания: «Кто больше прожил на свете и кому меньше терять — тебе или мне?»

Он научился попадать в цель, в движущуюся и появляющуюся на несколько секунд, правда, не здорово, но и не хуже других. Был дважды ранен, один раз контужен, но снова воевал, а после третьего, тяжелого ранения война для Лушкина была кончена, — мотался по госпиталям, бессонными ночами ждал, когда уйдет из тела боль, ждал, когда наступят утро и вечер, когда придет врач, когда будут делать перевязки, гадал, что будет на обед или ужин, и ждал писем. Но все это госпитальное ни к какому умению отнести, конечно, было нельзя. И когда он появился на заводе, он показался себе слабым ребенком, жизнь словно отбросила его к самым истокам.

Ничего из того, что могли эти люди за станками и у слесарных тисков, в кабинах мостовых кранов или с зубилом и кувалдой у разобранных машин, он не умел. Оказывается, ничего он на своем веку не создал, а лет ему было уже за двадцать.

Здесь, на заводе, не надо ни таскать пушку, ни подносить снаряды, ни прикрывать товарищей собой от осколков мин, внезапно накрывших батарею, — все это в мирной жизни было не нужно. И ему казалось, что не нужен и он сам — вот такой Кузьма Лушкин, который силою обстоятельств и судьбы своей превратился в обузу. Теперь, когда ему становилось плохо, его должны были носить на себе, спасти от сомнений и разочарований, а он этого не хотел. И первые свои месяцы работы на заводе он старался не вспоминать, потому что понимал теперь, каким ненужным, раздавленным, жалким был он в то время.

Работа у разметочной плиты — дело молодое и строгое, молодое потому, что надо было часами стоять и ходить вокруг этого строгого устройства: плоской и ровной, как стекло, два на два метра чугунной плиты, возвышающейся над полом, на которой стояли разных фасонов литые детали. Здесь, если работать по-настоящему, к концу смены словно кол в пояснице. Ошибиться в разметке нельзя было ни на десятую долю миллиметра. Иначе считай, что уже с разметочной плиты все рабстают в брак.

Его шеф, слесарь-разметчик седьмого разряда Диоген Иванович Рощин был крепким мужчиной, лет шестидесяти. Он был молчалив и неприветлив, почти ни разу за смену не поворачивал головы к Лушкину, только иногда глухим голосом объяснял, что он делает и

как это надо делать. И так, молча и требовательно учил его читать чертежи, тыча в них своим коротким пальцем. Наверное, в цехе не знали характера ранения Лушкина или не придавали этому значения: раз выпи-сался из госпиталя, значит, здоров.

Диоген Иванович на исходе первого полугодия стал доверять Лушкину уже самостоятельную разметку де-талей средней сложности, иногда молча поправлял его: «Не так лекало держишь, не так циркуль берешь...»

Завод работал напряженно, люди жили трудно, жестокая война и из этого далекого от нее города вы-мела даже самых необходимых для его нормальной жизни людей.

Плохо тогда работали пекарни, скудно было с про-довольствием, каждому заводу исполком выделял уча-стки под огороды за городом. Рано утром по воскре-сеньям заводские автобусы увозили огородников, и го-род пустел.

Не хватало железа, стали, инструмента. На весь ме-ханический цех было пять штанген-циркулей. Размет-чики являлись на работу со своими, сохранившимися, а может быть, перешедшими от их отцов, лекалами. Резцом или кусочком победита дорожили, как именны-ми часами. Сверла служили до самого черенка. Смаз-ка, эмульсия, стекла в окнах цеха, обувь, спецодежда, шестигранные прутки, из которых нарезали болты и гайки, — всего этого было мало. И как завод справ-лялся с планами того времени — до сих пор не мог представить себе Лушкин.

Но на середине своего ученического пути вдруг об-наружил, что и он уже что-то может, что этот Диоген не просто молчалив и неприветлив, а и сосредоточен, и щедра душа его, и что у него, Диогена, иной жизни, кроме завода, фактически и нет, а может быть, даже и не было. И не будь этой разметочной плиты, Лушкину там, на фронте, нечем и не из чего было бы жечь не-мецкие танки...

А тут ему присвоили разряд! Присвоили не второй ученический и не третий — промежуточный, когда еще неизвестно, можно ли тебя ставить одного у плиты или тебе по-прежнему еще нужен Диоген, который может уловить цепким глазом мгновение, когда ты, дейст-вуя циркулем, чертилкой или еще каким инструментом, неверно чертишь на побелевшей поверхности детали круги и кривые, выбиваешь точки, где пройдут потом

на станке своими центрами сверла. Присвоили сразу четвертый разряд слесаря-разметчика.

В общем, у Кузьмы Лушкина оказалось два праздника сразу, и какой из них больше, неизвестно. А может быть, это был один большой праздник, а может быть, даже не праздник, а просто иное состояние Лушкина, который сам создавал себе новую жизнь.

Вот идет Кузьма в ранний утренний час, опираясь на палку, сначала двором, потом по деревянному тротуару до перекрестка, где идут люди его завода. Некоторых он уже хорошо теперь знал в лицо. Шутят, смеются, а в это время в самом Кузьме живет что-то непонятное ему: он словно стал шире, вместительнее, словно продлили день, хотя дни-то пошли на убыль. И день ему кажется бесконечным, видится дальше протяжного гудка, обозначающего окончание смены.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На первую свою зарплату, полученную, когда она была уже женой, Айгуль купила Лушкину костюм черный, шевиотовый, как шили по тогдашней моде — двубортный. До этого он обходился своим солдатским обмундированием да кирзовыми сапогами и даже больше — когда выходила из строя гимнастерка, он ездил на барахолку и покупал себе не что-нибудь, а то же — привычную солдатскую одежду.

— Зачем это? — сказал Лушкин, разглядывая костюм, и не представляя, как он наденет его. В его жизни еще не было ни одного костюма из такой дорогой ткани. И ему вдруг сделалось стыдно, что, не подумав о ней, он задал Айгуль такой дурацкий вопрос.

— Я еще не все тебе рассказала про себя, — стараясь не замечать смущения Лушкина, заговорила Айгуль. А он, глядя на нее, думал, что еще долго не сможет привыкнуть к тому, как она смотрит, когда говорит, как живут ее глаза. — Я еще не все рассказала тебе про себя, — продолжала Айгуль. — Знаешь, у нас есть общество, общество глухих. Там разные люди. Одни глухие от рождения, другие, как я. Некоторые потеряли слух уже взрослыми. Они хорошо говорят и знают много слов. Я хочу, чтобы ты знал всех, кого знаю я. Я хочу делиться с тобою всем. В этом обществе у нас люди собираются не только из-за общей бе-

ды. Там я училась рисовать, ты этого еще не знаешь. Там я узнала много разных людей, они научили меня узнавать новые слова. Есть такие книги — учебники, есть учителя. Руки человека могут высказать все. У них только нет звука. Когда ты читаешь, по моим рукам, смотри в мои глаза, ты услышишь звук. Я тебя люблю.

— Ты колдунья, — сказал Лушкин.

Она засмеялась.

Первый раз Лушкин надел костюм, когда они с Айгуль пошли на концерт в общество глухих. Честно говоря, он боялся идти туда, не представлял себе, как могут петь и плясать люди, не слыша музыки и своего голоса. Да и Айгуль была задумчивой и что-то решительное было в ее лице.

Лушкин шел рядом, искоса поглядывая на нее, он хотел спросить: «Что с тобой? Я обидел тебя?»

Но не спросил.

Но то, что он увидел, когда они вошли в зрительный зал клуба, превзошло все его предположения. В зале стоял шум, но не тот шум, когда работало или говорило много людей. Это был странный шум, неживой, когда говорили и смеялись, не слыша самих себя. И когда говорили, то следили за выражением лиц и за жестом собеседника. Лушкину было ясно, почему все это так делалось, но лица сидевших в зале людей показались ему такими дикими, свирепыми, а взмахи рук такими воинственными, что, казалось, люди вот-вот должны разодраться.

Айгуль посадила Лушкина в ряду недалеко от сцены, а сама тотчас убежала. И Лушкин остался один, один в переполненном зале, он никого здесь не знал.

Но дело было даже не в том, что он не знал здесь никого. Он не знал, как общаться с этими людьми, он боялся их. Если бы судьба занесла его сюда еще тогда, когда он не повстречался с Айгуль, он сидел бы и с удивлением рассматривал эти странные лица, слушал эти странные голоса, как будто попал на другую планету или в другую страну, где все странно и интересно. Но вся беда была в том, что к этим людям принадлежала Айгуль. Это была ее страна, страна глухих.

Зал клуба был обычный, с привычными картинами на стенах и портьерами на дверях. Обычным казался и занавес, закрывающий сцену и окна, за которыми шумел обычный, знакомый Лушкину город, а островок этой странной жизни, которой Лушкин не принимал

всем своим существом, был необычным. И от всего того, что Лушкин видел и чувствовал сейчас, у него шел мороз по коже.

А самое необъяснимое было еще впереди. Раздвинулся занавес, залучились огни рамп, погас в зале свет. И на сцене появился парень в малиновых шароварах, шевровых сапожках и шелковой под цвет шаровар рубашке, подпоясанной желтым с кистями пояском. И парень заговорил. И Лушкин понял, что если здесь есть хоть один нормальный человек, так это тот, который стоял на сцене, потому что шум в зале мешал ему, и он старался перекрыть его своим звонким голосом. А присутствующие понимали его, им достаточно было видеть движение его губ, чтобы догадаться, о чем он говорит.

Парень вскоре ушел в глубину сцены и вернулся оттуда со стулом и баяном. Он сел и заиграл какую-то танцевальную русскую мелодию, ритмичную, залихватскую, отсчитывал такт ногой. И тотчас из-за дальних кулис появились три девушки в русских сарафанах и платочках, в красных сапожках. Это был танец знакомый, давний: на фронте, откинув борта «студебеккера» и настелив в кузов досок, чтобы удлинить площадку, такой танец исполняли артисты концертной бригады. Но там глаза танцующих были полны огня. Как уж они, эти артисты, уставшие от долгих и дальних дорог в прифронтной полосе, не выспавшиеся, приводили себя в порядок перед концертом, Лушкин не знал, только смотрел на них и восхищался ими, полными жизни.

А здесь его потрясла какая-то замедленная старательность танцующих. Девушки словно вслушивались в самих себя, боясь ошибиться. И от этого глаза у них были неподвижны, лица застыли и напряглись. А потом оттуда же, из-за кулис, вышли три парня, такие же старательные и робкие, и глаза их были такие же неподвижные, потому что они тоже слушали самих себя. «А может, они музыку понимают по движению клавиш баяна, они не спускают глаз с баяниста», — подумал Лушкин, но додумать эту мысль до конца не смог. Жутко было ему смотреть этот танец. Он так же, как и танцующие, не слышал музыки и шума в зале, а только видел эти нескладные движения. И когда Лушкин подумал, что это и есть самое страшное, что он сегодня увидел, вышла Айгуль, и баянист заиграл «Катюшу».

«Неужели она будет петь?» — ужаснулся Лушкин, вжимаясь в кресло. Ему хотелось провалиться сквозь пол, уйти отсюда и никогда не знать этого, не видеть и не слышать. Ему было так непроходимо жаль Айгуль, жаль всех сидящих здесь людей, что у него на глазах невольно навернулись слезы.

Краем зрения Лушкин увидел, как Айгуль пристально смотрит в лицо и на руки баяниста. Он опустил голову и закрыл уши ладонями. Когда он снова посмотрел на сцену, Айгуль не было. Он поднялся и вышел из клуба.

Прошло с четверть часа, а может быть, и больше. В зале снова кто-то пел. Звук доносился глухо, но Лушкин и не прислушивался. Перед глазами стояло это потрясающее его жаждой жить нормальной человеческой жизнью лицо самого дорогого человека на свете — Айгуль, его жены. Он и сейчас мысленно называл ее так: «Моя жена», и это было так привычно, словно прожили они вместе многие годы.

Лушкин страдал всем своим существом, и, даже когда доставал папиросы, закуривал, — руки у него тряслись.

Концерт еще продолжался, и, наверное, он должен был продолжаться еще долго, но появилась Айгуль. Он видел, как она осторожно, прикрыв за собою ладошками дверь, осмотрелась в темноте, заметила его и стала медленно к нему приближаться.

— Ты здесь? — деревянным голосом спросила она. — Я со сцены видела тебя...

Лушкин стоял, опустив голову. Он не мог поднять на нее глаза. Ледяными пальцами она взяла его за щеки и повернула его лицо к себе. Они были с ней почти одного роста. Нет, вообще-то она была ниже его ростом, но высокие каблучки делали ее одного роста с ним.

— Посмотри на меня, смотри в глаза, — отдельно и ровно сказала она. И после всего увиденного на концерте, пережитого им там, Лушкин с тоской поймал себя на мысли, что воспринял голос Айгуль так, как воспринимал его в первый день знакомства, — чужим.

— Ты жалеешь меня? Ты жалеешь всех этих людей?.. — ноздри ее трепетали, и лицо было бледным. И теперь ее глаза не вслушивались в Лушкина, ее глаза прятали что-то рвущееся из нее, это был гнев и немножко презрения. — Слабый же ты, солдат, чело-

век, если считаешь себя сильнее нас. Да, мы неполноценные люди, мы не слышим даже себя, и не все из нас могут говорить. Но здесь... — И она положила ладонь себе на грудь, — у каждого такое же сердце, как у тебя, и такая же радость, и мы можем такое, чего не можешь ты. Ты не можешь услышать пальцами рук голос реки и ветра. Ты не знаешь, как звенит зелень, листья деревьев, как кричит горячая земля, как поет орешник. Ты многого не можешь сам, а жалеешь нас. Послушай меня, Кузьма, постарайся понять, иначе нам не жить вместе. Мы оба сойдем с ума!

— Я не знаю, — забормотал Лушкин. — Этот концерт... Эти танцы, песни. Ты прости меня. Дай мне время, я должен привыкнуть... Я должен все это понять так, как понимаешь ты. Прости меня.

Они стояли под тополями клубного парка, и было слышно, как стелется по листве деревьев шум нарастающего дождя.

Айгуль протянула руку.

— Дождь, — сказала она и отошла в глубину деревьев.

А Лушкин стоял, не прячась и не трогаясь с места, хотя на голову и лицо уже падали дождевые капли и с веток сочились струйки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Разные думы одолевали Лушкина, сидящего у окна, за которым кружили свои хороводы леса и перелески.

Не спалось ему что-то. Ни днем не спалось, ни ночью. И чем знакомее становились названия станций, мелькавших за окном, тем сильнее наваливались раздумья.

Почему-то ясно припомнился еще один разговор с Айгуль. Он состоялся вскоре после концерта в клубе глухих. Она ему сказала тогда:

— Конечно, я понимаю, кто ты для меня. Говорят, невозможно объяснить, за что люди любят друг друга. Но, может быть, то, какими мы представляем вас, то, как мы вас понимаем, то, как ощущаем вас мы, и есть самое то, за что любят. То самое «то», которое может ответить на этот самый вопрос: «За что?..» Вот ты подумай. Возьми необитаемый остров, высади на нем двух людей — мужчину и женщину, которые перед

этим даже не знали друг друга, и даже таких, у каждого из которых на Большой земле были свои какие-то особые привязанности, идеалы, представления о прекрасном. Как ты думаешь, что произойдет с этими людьми?

Она не дождалась ответа. Кузьма в этот момент представлял себя и ее, других он представить не мог. И Айгуль сказала:

— Они полюбят друг друга. Не потому, что никого другого нет, а потому, что эта исключительность даст им возможность вырастить красоту друг друга, у каждого в самом себе. Ты думаешь, что ты, в моем представлении, мужчина среднего роста, не достигший высоких чинов, с разбитыми на фронте костями? Нет, дорогой Кузьма, нет. Уже за то, что ты, большой и могучий человек, со своей болью, страшной, от которой, когда я представляю, как тебе больно, у меня заходится сердце, просто ходишь по земле, ты дорог мне, ты любим мною.

— Если бы я не был ранен, ты бы не любила меня?

— Нет, ты не понял, Кузьма. Все это есть в тебе, все есть, только я вижу тебя иначе, чем все остальные. Вижу дальше и больше, и подробнее... Дурачок...

Впервые после этого разговора — ночью, когда Айгуль уснула, — Лушкин вспомнил ее слова о необитаемом острове. Он с самого начала не понял, что она хочет сказать. Сердце задела только ее слова о том, как двое встретились на необитаемом острове, а потом полюбили друг друга. От этой фразы веяло чем-то ледяным, и теперь он стал думать об этом. Ведь, в сущности, оба они и есть те два человека на необитаемом острове, о которых она говорила. Этот остров — из-за ее глухоты и из-за его болезни, когда он несет в себе всегда готовую ожить страшную боль. Не об этом ли говорила Айгуль, и если об этом, то любовь их какая-то вынужденная, когда они оба — он ее, а она его — выбирали, не имея выбора. И сейчас только притворяются, делают вид, что были свободны в выборе до встречи, а на самом деле иного выбора у них не было.

Эта мысль была настолько тяжелой и горькой, что беспросветная тоска заполнила Лушкина, и он не в силах был додумать этих слов. Ему казалось, что Айгуль сама жалеет, сказав ему об этом, и все, что она говорила потом, разъясняя, — было попыткой заставить его забыть сказанное ею прежде. Никогда раньше

за все дни, проведенные вместе с ней, Лушкин еще не думал так об их отношениях. Но теперь и на работе, и по дороге на завод, и когда приходил оттуда поздно вечером (на заводе шла перестройка цеха, и Лушкин подолгу задерживался после смены), он обращался мыслями к Айгуль, к ее словам, к самому себе и ловил себя на том, что он как бы оттягивает свое возвращение домой.

Но это происходило вовсе не оттого, что он не хотел видеть свою жену, нет. Никогда прежде он так не тосковал о ней, как сейчас. Если честно признаться, Лушкин ни на секунду теперь не забывал об Айгуль. Она всегда была с ним и в нем. Но если прежде ему было радостно думать о ней, то теперь он испытывал такое, какое бывает во сне: уходит кто-то близкий и дорогой, отодвигается, растворяясь в воздухе, он еще здесь, этот человек, его можно узнать, вот он — и лицо, и губы, и глаза, но он уже прощается с тобой, прощается весь. Прощается и прощает. От этих мыслей Лушкину становилось не по себе.

Неужели их свел вместе только недуг! Как тяжка ему была теперь забота Айгуль о нем, о его чисто физическом удобстве: чтобы тапочки всегда были под ногами, чтобы туфли были не со шнурками, а с резинкой, тогда не надо наклоняться к ним. Даже стулья у стола, за которым они обедали, были ниже нормальных стульев. И еще он поймал себя на том, что думает об окружающих здоровых людях не то чтобы с ожесточением, но с завистью. Он даже откровенно завидовал тому, у кого не было руки или ноги, он готов был поменять незаметный снаружи, но тяжелый недуг на любое другое ранение. Однажды в воскресенье Лушкин увидел слепого фронтовика и подумал, что, может быть, лучше было ему вернуться с войны слепым, чтобы не видеть, как прекрасна Айгуль. И даже остановился: «Грех, какой грех так думать».

Может быть, вот этой вспышки и недоставало ему для того, чтобы взять себя в руки. И вдруг он понял: нет, не об этом говорила Айгуль, не о необыкновенной их встрече — она говорила о другом — об умении видеть в любом человеке прекрасное: прикосновение, взгляд, ощущение, дыхание, беззащитность и доверчивость, когда она — обнаженная — рядом. Та тревога, с которой вглядывалась Айгуль в его глаза, пытаясь понять, что с ним происходит, рождала в нем нежность,

острую, большую, словно дождь прошел над его душой и над его телом, и омыло его, и потрясло.

Перемену в Лушкине заметили даже на заводе. Диоген заметил. Лушкин и прежде чувствовал его внимание: нет-нет да и подойдет старик, остановится за его спиной во время работы. А тут судьба свела их во время перерыва. Может быть, Диоген сам ненавязчиво и мудро выбирал время.

— Ну что, парень, отпустила? — спросил он наконец.

Диоген сворачивал себе козью ножку и, шурясь, смотрел на Лушкина.

— Что отпустила?

— Скорбь вселенская. Что там произошло у тебя? Лушкин молчал.

— Чего молчишь-то? Навоевался ты вдосталь, парень...

— Навоевался.

И тут как-то само собой случилось так, что Лушкин рассказал Диогену все: и про Айгуль, и про себя, и про этот необитаемый остров, и про то, как он очнулся наконец. И неожиданно понял, что за последние несколько лет мало с кем говорил так откровенно.

— Знаешь, что я тебе скажу. Может, я и не широко грамотный в этих делах, но я всю жизнь, вот уже сорок лет с лишком, мантулю, и осталось немного мне, другой уже край виден. Вот что я скажу, послушай меня, старика. Коротка жизнь человеческая. И знаешь, я бы согласился жить еще и еще — хоть хромой, горбатым... Неохота помирать. Мне кажется, солдат, я и не жил еще, а может, и в самом деле только начинаю жить. Знаешь, когда она, жизнь-то начинается? Когда поймешь, из чего она состоит. А состоит она вот из чего: из цвета, из запаха металла. На-ка вот поддержи. Что чувствуешь?

— Ничего.

— О! Не начал, значит, ты еще жить, только думаешь о жизни. Тепло в ней, в этой железяке. Тепло от той руки, которая резьбу нарезала. Вот корпус старого цеха, уж и людей нет, которые его ставили, а ну-ка прислони к нему ладонь. Живут стены-то, их жизнью живут... У меня окошко сейчас на восток — квартиру дали рассветную. Встаешь утром — небо, ни конца ему ни краю! Воздух! Перила на балконе влажные, роса ночью пала. Семен, дворник наш, по тротуару мет-

лой «вжик-вжик»; катерок на Амуре зашевелился или моторка. На моторочке-то этой хлебушек припасен, лучок зеленый, соль в спичечной коробке и пузырек махонький. А вода из-под носа прозрачно-коричневая, валунчиками такими расходится, расходится... Стоишь себе на балконе и думаешь: залезу в робу, сапоги надену и почапаю. А тут уж силовая чихпыхает, станки гудят, мастер наш шебутной орет, понял ты меня, нет? Умирать неохота. Вот за это вы кости да глаза там теряли. Я б на твоём месте богу во какую свечку откатал! Как труба наша заводская! За то, что дал возможность тебе видеть все это, слышать и женщину любить...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Жизнь менялась к лучшему. Это чувствовалось по толпе, заполнявшей улицы, по той атмосфере на окраине города, где находился завод, где они снимали комнату у Дорофеи.

Постепенно уходили в прошлое трудные послевоенные годы. Свободнее зазвучали голоса, вольготнее становилась жизнь, в магазинах появлялись все новые и новые вещи. И даже если ты их не покупал, потому что не было денег или не понимал их нужности для себя, все равно радовало душу. Этого невозможно было не заметить. И Айгуль, готовя на кухне ужин, хлопоча над оладьями или картошкой, мурлыкала про себя что-то такое, чего Лушкин не мог разобрать.

— А знаешь, — сказала она однажды, появившись на пороге комнаты с дымящей в руках кастрюлей. — В магазинах появились галоши.

— Что? — удивился Лушкин.

— Да, галоши, — гордо подтвердила Айгуль.

— Ты что, хочешь купить себе галоши?

Она не поняла его. Тогда он написал ей это и в конце фразы поставил большой вопросительный знак.

— Нет, — сказала она. — Просто в магазине продавали галоши!

Назавтра было воскресенье, поднялись они, когда солнце разыгралось уже вовсю, позавтракали, сделали все по дому, и, когда отправились погулять, Лушкин понял, почему Айгуль сказала ему про галоши. Почти весь их поселок от мала до велика был в этих гало-

шах. От их блеска на улицах было даже празднично. Они сверкали и светились на сапогах, на ботинках, на дамских туфлях. Перед этим они, оказывается, продавались в магазинах поселка всю неделю — и мужские и женские.

«...Конечно, война уходила в прошлое», — думал Лушкин, сидя в вагоне и мысленно сравнивая то время с временем нынешним. Появись этот Гарпунин тогда на улицах города одетым вот так, в своем клетчатом пиджаке, его приняли бы за иностранца или за ненормального. Это было такое время, когда каждое изменение воспринималось всем городом сразу. И люди знали о новых вещах, о том, что где-то, в таком-то переулке проложили асфальт, что в таких-то домах появилась горячая вода. Все это обсуждалось всем городом, как новости государственного значения. У людей было такое ощущение, что они живут накануне праздника, ясного, светлого, как Первое мая.

Однажды в воскресенье Айгуль и Кузьма поехали за город. Лушкин никогда не пересекал его за все три года жизни здесь. Раза два или три они ходили с Айгуль в центр, в самый главный кинотеатр. Но то, что они увидели, пока автобус вез их по главной трассе, связывающей их город с другим далеким городом у океана, не шло ни в какое сравнение с впечатлением, что осталось у Лушкина от центра города.

Город был большим, многоголосым, он раскинулся на берегу огромной реки, на ее изгибе, со своими заводами, прямыми улицами, жилыми кварталами. Уже одно только то, что путь от поселка до центра занял около часа, говорило о многом.

В одном из районов города строился новый жилой массив, там торчал целый лес башенных кранов, к нему уже проложили бетонированную дорогу, и здесь, в шестиэтажном доме, Лушкиным дали потом однокомнатную квартиру на третьем этаже с балконом на реку. У Дорофеи утро начиналось с солнца, потому что окошко было на восток. А здесь до самого их ухода на работу в комнате царил полумрак. Зато, когда вечером они возвращались с работы, их жилье было полно солнца. Закатывалось оно, заходило за речные дали как раз против их окна.

После той маленькой комнатки, что они занимали у Дорофеи, эти хоромы в тридцать квадратных метров плюс кухня с газовой плитой, плюс ванная — во-

да холодная и горячая — показались им роскошью. Только мебели не было. Кровать, две табуретки, стол с десятком предметов посуды — вот и все имущество Лушкиных.

Первое, что смастерил Кузьма, — полочки для Айгуль на кухне. Получились они у него аляповатые, но и создал он эти сооружения в заводской столярке после работы из обрезков.

Потом купили абажур на лампочку, потом, по случаю, приобрели стол, который не стыдно было поставить посреди комнаты, потом — стулья.

Долго не было платяного шкафа, и вся одежда висела на самодельных плечиках в прихожей. А чтобы она не пачкалась об известку, Айгуль оклеила стену бумагой. Но все-таки стены были голыми — тогда их белили до самых плинтусов, и прислониться к ним было нельзя.

Часто Лушкин провожал Айгуль в дом глухих. Там она после работы занималась рисованием. Лушкин любил смотреть на нее в приоткрытую дверь класса. Под быстрыми, легкими руками Айгуль — она сидела всегда спиной к двери — из хаоса карандашных линий на бумаге возникала то гипсовая маска, то крынка с положенной на нее деревянной ложкой, то изображение гипсовой руки.

Сами предметы, с которых рисовала Айгуль, находились в глубине комнаты, и Лушкин их не видел. Заглядывать туда боялся, и весь процесс рисования казался ему каким-то волшебством, он испытывал удовлетворение едва ли не большее, чем сама Айгуль.

Время от времени он выходил на крыльцо, закуривал и стоял здесь преисполненный чувства собственного достоинства, спокойствия, уверенности в себе, в жизни.

Айгуль рисовала и дома. Теперь вся стена над их кроватью была увешана набросками. Тут были и карандашные портреты Лушкина. Он чувствовал, что получается у нее похожим, но похожесть эта была какой-то странной. Он сравнивал себя в зеркале с тем, каким изображала его Айгуль, и два эти его представления не совмещались. Ему казалось, что этот вот, с сухим лицом мужчина, с острым носом не он, а кто-то другой, очень похожий на него. А вот когда Айгуль нарисовала свой портрет, он узнал ее. Собственно, он ее такой никогда не видел, а оказывается — она была



такой, как на автопортрете. Мягкие и сухие линии, и нервность лица, и горячие живые глаза.

Но все же автопортреты Айгуль вызывали у Лушкина беспокойство. Он чувствовал, что в ней есть что-то такое, чего он не знает. С этих портретов она смотрела как будто из очень большого далека — не то с тоской, не то с грустью, и однажды он сказал ей об этом. Айгуль долго не отвечала, думая над его словами, а потом сказала:

— Не знаю, может, ты прав. Я очень часто думаю о своей родине. Там у нас долины и степь. Ты знаешь, что такое степь? Она большая, и она шумит. И когда я вспоминаю о ней, мне кажется, что я слышу, потому что слышу, как шумит эта степь. Слышу, как нормальные люди слышат ушами, а не только кожей и нервами, как я сейчас.

— Вот получим отпуска и поедем туда, — сказал Лушкин.

Он и вправду намеревался взять отпуск и поехать на ее родину. И, может быть, там, когда он увидит ее родные края, он сможет понять то, что не понимал еще в ней.

— У нас есть такая трава: принесешь в юрту, мать перевяжет ее ремешочком в пучки. Проживешь всю жизнь и умрешь, а трава эта будет пахнуть целое столетие.

Айгуль замолчала, а Лушкин подумал: «Вот оно непостижимое в ней — ее степь».

— Твоего отца звали Ильгиз, — сказал Лушкин. — Наверно, это как-то переводится?

— Да, немного. Человек, который переходит землю. Это не точно, но так.

— А почему не точно?

— Потому что в этом имени узбеки представляют себе землю, всю землю, как очень большую степь.

— А знаешь, Айгуль, — сказал Лушкин. — Ты нарисуй эту степь, ты помнишь ее?

— Степь надо рисовать большой. На листе бумаги это не степь.

— А ты... А ты нарисуй на стене!.. — И он обрадовался своей неожиданной мысли. — А что — на стене! Пусть будет на стене. Ты родишь мне сына, и у него будет степь.

Айгуль закрыла лицо руками.

— У нас никогда не будет сына! Я не сказала тебе,

я боялась тебя потерять. Я тонула в ледяной воде. И я лишилась не только слуха... Я никогда не буду матерью. Никогда! Понимаешь? — Горе в ней рвануло через край, и она разрыдалась. — Нет, ты понимаешь меня, Кузьма?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Слова Айгуль о том, что у них никогда не будет детей, тяжело отозвались в Кузьме: нехорошее ворохнулось, что-то тяжелое, саднящее, но подлинного смысла этого он еще не понимал. Это были не страх и не сожаление, и не горечь, да он бы и не мог испытывать этого сейчас, так полна была солнцем их комната, так радостно было присутствие уже совсем родной женщины, так много ему было хлопот с самим собой (боль даже тогда, когда она была нереальной, когда не била в мозг, — она все равно была где-то рядом, поблизости: за неловким движением, за первыми каплями дождя).

Он подошел к ней, сидевшей на кровати, сел рядом и положил руку на ее затылок. Он всей рукой, всей ладонью ощутил нежную тяжесть ее волос и тепло ее головы, и он сказал:

— Ну, будет, Айгуль, — выговорив ее имя с чем-то средним между «у», «ю» и «ё», словно позвал ее в лесу. — Ну, будет, Айгуль, у тебя все впереди, нам помогут. У такой красивой, как ты, и такого красавчика, как я, дети будут обязательно.

— Ты шутишь, — глухо сказала Айгуль. — А это очень серьезно. Я знаю.

— Самое главное у нас есть, Айгуль. У нас есть ты и я, — сказал он тогда, но позже он поймал себя на том, что какими-то иными глазами видит детей во дворе. Он старался проходить мимо, и все-таки они стояли у него перед глазами, когда Лушкин поднимался по лестнице к себе.

Вскоре после того как Лушкины переехали в новый заводской дом, на лестничной площадке в квартире напротив поселилась женщина с девочкой лет пяти или шести. У женщины было бледное, невыразительное лицо, да и во всей ее внешности не было ничего при-

мечательного. Девочка оказалась тихим ребенком с деловым, сосредоточенным лицом, как и у матери.

— Ты не знаешь эту женщину, что живет у нас напротив? — спросил как-то Кузьма у Айгуль.

— Нет, — ответила она, — знаю, что она одинокая.

В воскресенье, в полдень, был дождь, да такой сильный, что даже из своей комнаты Кузьма слышал шум воды внизу. Он пошел за газетами и увидел, как девочка соседки пытается открыть дверь в свою квартиру. Она принесла с улицы ящик, чтобы достать ключом до замочной скважины, но у нее ничего не получалось. Девочка обернулась и посмотрела на Лушкина долгим взрослым взглядом, и, может быть, потому, что в подъезде было пасмурно, лицо девочки тоже показалось Лушкину взрослым.

— Я открываю, открываю, — сказала девочка, — а она не открывается. — Девочка не просила Лушкина помочь ей, а сказала вот так, и Лушкин почувствовал осторожность ее слов и ее настороженность. Она говорила, а взгляда своего от Лушкина не отрывала.

— Давай, я помогу тебе открыть дверь.

И девочка протянула ему горячий от ее рук ключ.

— А где твоя мама?

Замок не открывался на самом деле, может быть, он был испорчен, а может, просела дверь.

— У мамы сегодня дежурство, она придет только рано утром.

— А ты не боишься быть одна дома?

— А чего бояться, никто же не сможет влезть в окошко на третий этаж, а дверь я закрываю. На ключ. И еще на цепочку.

Рассудительность девочки была удивительной. Она говорила с Лушкиным так, словно была старше его.

— Ты знаешь, ничего у нас с тобой не выйдет. Тут необходимо взламывать дверь, а без мамы я не решаюсь. Как ты считаешь?

— Не знаю. А что же я буду делать?

— А мы на что? Мы же соседи. Идем к нам.

Айгуль была в своем клубе, и Кузьме самому пришлось занимать девочку.

— Ты ходишь в детский сад? — спросил он, когда они вошли в квартиру.

— Да.

— Тебе там хорошо?

И пока девочка отвечала, он сел перед ней на корточки и помог снять промокшие ботинки. Ее чулки тоже были мокры, а он не знал, что с ними делать. Тапочки были только Айгуль, тридцать шестого размера, да его, сорок второго.

Он вспомнил, что у Айгуль были чулки, связанные из козьей шерсти.

— Сейчас я тебя обую, а твои вещи высушу. — Кузьма повел девочку на кухню и спросил: — Ты не знаешь, чем кормят детей? Их можно кормить картошкой с мясом?

— Можно, — кивнула серьезно девочка.

— Тогда садись сюда, будем с тобой обедать. Ты за хозяйку, я — за хозяина.

— Ваша мама всегда тут садится? Или это твое место? — спросила девочка.

— Тут обычно сидит тетя, а здесь сижу я, — пояснил Кузьма. — Хотя у нас каждый садится, где хочет. Для меня она жена, тебе тетя, тетя Айгуль. А тебя как зовут?.. — Все это Лушкин говорил, накрывая на стол.

— Таней меня зовут, — ответила девочка.

— А меня Кузьма.

— У нас в детсадике есть Кузя.

— Кузя? — удивился Лушкин. — Кто же этот Кузя?

— А вы не обидитесь?

— Нет, я очень взрослый.

— Это маленькая собачка. Когда мы приходим, она играет с нами, а когда уходим совсем, она сторожит садик от воров, чужих собак и разных диких людей.

— Ну, Кузя так Кузя, — рассмеялся Лушкин. — Значит, мы с этой собачкой тезки. Я вот тоже дом сторожу, пока тетя учится.

— А чему она учится?

— А она рисует. Ты сейчас поешь, и я тебе покажу, как она рисует.

— Хорошо, а вы тоже рисуете?

— Нет, я работаю на заводе, Танечка. Ты знаешь, что такое завод?

— Это такая большая труба и дым идет. И еще он гудит: утром и вечером.

— Ну, в общем-то ты права, — улыбнулся Лушкин, подумав, что и он вряд ли мог определить одним сло-

вом, что такое завод. — Там много людей, и все они делают машины.

— А что делают эти машины?

— Убирают хлеб. — И тут же подумав, что Танечка знает о хлебе только о таком, какой бывает на столе, пояснил: — Пшеницу, рожь убирает такая машина. Одним словом, зерно. Такая высокая трава с колосьями, на полях вырастает.

Когда девочка поела, Лушкин повел ее в комнату.

— Теперь посмотри сюда, — Лушкин повернул девочку за худенькие плечики к стене, где Айгуль уже начала панно. Это была степь, и в степи дул ветер. Гнулась высокая трава, и где-то далеко у горизонта стояли горы, большие, угловатые, видно, очень большие горы. А чуть левее и выше центра, на фоне далекого горного хребта, бежала лошадь. Она словно убегала от людей, обернув на кого-то сторожку и почему-то печальную голову. Ветер отбрасывал ей хвост и гриву в сторону, ноги ее были скрыты в траве, но это была скаковая лошадь — сильная и вольная статная лошадь.

Рисовала Айгуль по ночам, когда Лушкин засыпал или в те часы, когда его не было дома. Ни разу он не застал жену за работой. Только видел на табуретке у панно баночки с разноцветными красками, тушью, щетинные кисти и стеклянную банку с водой. Но всякий раз потом Лушкин находил в этом огромном панно что-то новое — новые линии, новые краски.

— Разве можно рисовать на стенах? — тихо спросила Танечка, долго и молча разглядывавшая работу Айгуль.

— Тебе нравится? — спросил Лушкин.

Танечка не ответила. Но, когда Лушкин, наклонившись к ней, увидел, как она пристально смотрит на картину, он понял, почему она задала такой вопрос, он вспомнил себя мальчишкой и как всыпала ему мать, когда он нарисовал чертей на только что выбеленной стене.

— Эта стена у нас специальная, — начал сбивчиво объяснять Лушкин. — Ты разве не видишь, что это будет картина? Конечно, если взять угольный карандаш и начать рисовать на стенах всякую чушь — это плохо. Но если вот так, то, наверное, можно? Как ты считаешь? Мне кажется, можно.

— И мне кажется, — отвечала Таня.

— Вот видишь, какие мы с тобой хорошие соседи. Нам обоим кажется одно и то же.

В это время вошла Айгуль. Она недоуменно перевела взгляд с Кузьмы на Таню и с Тани на Кузьму, и тот объяснил ей, откуда эта девочка. Все это время, пока Кузьма говорил, Таня с тревогой смотрела на Айгуль.

— Я очень рада, — медленно выговорила Айгуль.

А потом все время, пока девочка находилась у них, Айгуль говорила как можно медленнее, и Лушкин понимал, что Айгуль не хочет, чтобы девочка знала, что она глухая.

Танечка прочно вошла в их жизнь, а вместе с ней они приняли в свой круг Елену Ивановну Строкову — зубного техника, старшину медицинской службы военного госпиталя.

Танечку она родила без мужа — обдуманно, твердо решив, что никогда не выйдет замуж. Лушкину это было не понятно. То есть умом-то он понимал, а душа не принимала такого решения.

В госпитале лечил открывшиеся старые раны командир пехотного батальона. Она родила от него, не сказав ему об этом ни слова потом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Путь от Евпатории до дому Лушкин мог бы проделать на самолете. Но что-то затосковала душа по медленно текущему времени, по пространству, по России, которую можно увидеть только из окна вагона поезда — какие леса стоят, какая трава растет, какие реки и озера. Все это остается для человека, летящего самолетом, неизвестным.

Отпуск его кончался, оставалось четыре дня на дорогу. Никогда еще Лушкин не опаздывал на работу, а тут — будь что будет — возникла возможность прокатиться еще раз по всей России, как тогда, когда он возвращался с войны, из госпиталя, и он поехал поездом.

Весь этот путь тогда, одиннадцать лет назад, он проехал в грязном, неуютном, перенаселенном вагоне. Он устроился на багажной полке, и он один из всех пассажиров лежал, как барин, подложив под голову вещмешок и солдатскую телогрейку, спускаясь только

для того, чтобы сходить в туалет или за кипятком, или на продпункты по пути.

Внизу сидели плечом к плечу какие-то старики и старухи, женщины и дети, демобилизованные солдаты. Одни сходили, появлялись другие. Их чемоданы, вещмешки, узлы громоздились в проходах и на верхних багажных полках рядом с Лушкиным.

Дорога тогда не запомнилась ему — запомнились два пацана. Не то близнецы они были, не то так ярко выразилась в них одна порода — они были очень похожи друг на друга. Глазастые, худющие, рыжие, замурзанные какие-то и почему-то в одинаковых, едва ли не в детдомовских костюмах. Может быть, из-за этой одежды они и показались ему близнецами. Сопровождала их тихая, прозрачная женщина с блеклыми глазами, в платочке горошком, в вязаной кофте, юбке, сшитой из шинельного сукна, топорщащейся на острых стылых коленях, и в огромных кирзовых сапогах.

Когда Лушкину совсем было плохо, пацаны ходили за кипятком, и мать, — наверное, она все-таки была им матерью, — спокойно отпускала их. Пацанам было лет по десять, а может быть, и по восемь. Раннее взросление и детская взрослость — все перепуталось в них, и трудно было определить их возраст, возраст детей, опаленных войной.

Твердого времени стоянки у поезда не было, то он во всю силу мчал, раскачиваясь из стороны в сторону, потому что нагонял опоздание, то долгие часы стоял в тупике или на разъездах, где и жилья-то путевого не было — два ряда покосившихся домов и традиционная железнодорожная диспетчерская будка. Запомнилось это Лушкину потому, что за всю длинную дорогу диспетчерская лишь однажды оказалась как раз против окон вагона, в котором ехал Лушкин, и потому, что поезд стоял там часа четыре, не меньше.

А Россия катилась за окном в уже ожившей зелени. И молодая зелень отражалась на потолке и стенах вагона, на лицах проходивших мимо пассажиров.

Ночью подъехали к Иркутску. Здесь менялась паровозная бригада, заливались водой вагонные танки, что-то еще промывалось и чистилось перед броском через Забайкалье.

Было два часа ночи. Гарпунин проснулся и смотрел в окно, сквозь которое было плохо видно, потому что шел дождь.

Лушкин взял палку и вышел на перрон. Пассажи-ров было мало, те, что ехали до Иркутска, уже сошли. Неподалеку немногочисленные провожающие давали последний наказ какому-то мужчине. Прокатился электрокар, волоча за собой две пустые тележки. Торопливо, задыхаясь, перетащили водяной шланг мимо Лушкина двое рабочих. А Лушкин думал, что впервые за все эти годы после войны у него так много свободного времени.

Неизвестно почему, но ему хотелось заговорить с Гарпуниным, сказать ему — чужому, в сущности ненужному для него человеку, — что произошло за десять лет. Лушкин представил себе выражение лица Гарпунина, если бы того можно было привести в дом и показать ему все. И панно, и окно на Амур. Ведь если бы Гарпунин не пристал тогда к Айгуль на лестничной клетке, может быть, Лушкин ее бы и не встретил. И как бы сложилась их жизнь — неизвестно. Так что в конечном-то итоге он должен быть признателен Гарпунину. Айгуль была права, сказав как-то об этом.

А панно, по мнению Кузьмы, получилось. Айгуль написала и Танечку в нем. Конечно, Лушкин не судья. Но когда по утрам он просыпался и смотрел на степь, он словно наяву ощущал, как жила, волновалась под ветром эта незнакомая трава, как горевала маленькая девочка в правом нижнем углу картины. Ее ноги в коротких сапожках едва касались подошвами плинтуса — каблучки так и стояли на нем. Так нарисовала Айгуль.

Фигуры этой не было долго, и угол оставался пустым. Айгуль чувствовала, что еще надо что-то, одной травы в этом углу мало! А потом однажды утром, придя с ночной, Лушкин увидел на панно Танечку, соседскую девочку. Может быть, чуть постарше, но такую же хрупкую, такую же настороженную. Лошадь в глубине убегала от нее, и ветер отбивал в сторону и в глубь картины ее густую гриву и хвост, и лошадь, оглядываясь на девочку, словно звала ее за собой.

Да, это была Таня. И уши ее, и плечики, и та же манера держать опущенные руки, словно она уронила что-то очень дорогое. Лушкин долго стоял на пороге. Комната была полна какого-то серебристого, ровного,

полного света. Где-то звенела вода. И Лушкину вдруг показалось, что это звенит под ветром трава на панно, и звенит в комнате воздух. И не сразу он понял, что это Айгуль плещется под душем и поет что-то.

Когда Айгуль знала, что ее никто не слушает, она пела. Она пела и выговаривала слова, не стараясь, чтобы ее поняли, а так, как они звучали в ее лишенном слуха существе. И мелодия ее была непонятна, но в пении Айгуль было другое — она ликовала, словно язычница у костра. Это была сила, которая била из нее через край.

Лушкин открыл дверь в ванную и шагнул туда и обнял свою Айгуль, скользкую, гибкую, счастливую, мокрую, смуглую, сам попав при этом под струи теплого душа и промокнув мгновенно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Завод готовился к переходу на новую продукцию. За скучными словами «новая продукция» — дизели с двумя тысячами оборотов, с мощностью, превышающей полтысячи лошадиных сил, с таким диаметром поршней, что на них можно было сидеть и пить чай.

Завод лихорадило. В том цехе, где работал Лушкин, — цехе третьем, или моторном, как называли его, из шести поточных линий нормально, по-старому, работало три. На них велась обработка только что отлитых блоков дизелей мощностью до ста пятидесяти лошадиных сил. Но для средних морских судов такие дизели уже не устраивали заказчика.

К переходу на выпуск новых дизелей завод стал готовиться еще до войны. Завод был старым, еще с дореволюционным стажем, его стены, сложенные из красного кирпича, были так прочны, что когда решили расширить окна, чтобы в цехах стало светлее, кладку пробили с большим трудом. По заводу легенды ходили, что цементный раствор прежде замешивали на снятом молоке и на яйцах или на чем-то вроде этого. А известь гасили годами — рыли глубокие ямы, загружали их негашеной известью и заливали водой пополам с обратом. Диоген Иванович сказал Лушкину:

— Видишь, кладочка-то, ни пузырька между кирпичами. Во люди строили! Думаешь, отчего нынешние стены все в пузырях? Известь в растворе догашивается.

Когда-то давным-давно, в незапамятные времена здесь делали трехдюймовые пушки для боевых судов и ремонтировали паровые машины. Потом, когда закончилась гражданская война, стали делать плуги, сеялки, веялки, жатки, а исподволь завод готовился к тому, чтобы перейти на выпуск судовых дизелей. Но грянула война с германским фашизмом, и завод перевели на ремонт и восстановление танков.

Товарные поезда везли сюда, на край страны, изодранные, обожженные, опаленные на войне наши танки. И находили в них всякое (трофейные команды и техническая служба не все могли выбрать из танков): шлемы танкистов в ржавой крови с прилипшими волосами, оружие, боевые снаряды, патроны...

Перед литейкой танки снова осматривали, выбирали оружие, неиспользованные боеприпасы и сносили в отведенное для всего этого место.

Целые горы взрывоопасного металлолома набивалось на территории завода. Эту свалку огородили и поставили часового.

Ко времени поступления Лушкина на завод свалка иссякла. Но и до сих пор в этом месте не ходили автокары, автопогрузчики, не ездили автомашины: чем черт не шутит — могла остаться мина или неразорвавшийся снаряд.

А в первый год после войны самым главным для народа был харч. И завод снова выпускал плуги, сеялки, жатки, и вот через десять лет подошла пора браться за дизеля нового класса — для морского флота.

Механическая линия готовилась давно и исподволь, нарушая привычный ритм жизни цеха. Исчезли потоки заготовок, замерли многие станки. А в адрес завода по Транссибирской магистрали шло сюда готовое оборудование. И часть его в дощатых ящиках уже громоздилась на заводской территории. Работая у своей разметочной плиты, Лушкин спиною ощущал эту пустоту вокруг себя, гулкость, все время ему хотелось обернуться.

Поднималась вся промышленность города. Задымили трубы масложиркомбината — и в магазинах появились собственного производства маргарин и соевое масло; достраивались и модернизировались на ходу мебельный комбинат и завод автоматных станков. Вокзалы были забиты вновь прибывшими людьми. На ули-

цах слышалась удивительная смесь языков и акцентов.

Начали ставить общежития и дома для семейных. Возникли новые автобусные линии. Если раньше их было в городе всего пять, то сейчас к ним добавилось еще три. Вдоль оврагов, прорезающих город, закрывались самосвалы и экскаваторы: овраги доживали последние дни.

А у завода, на котором работал Лушкин, была задача успеть дать дизеля для судоверфи на берегу Амурского моря, чтобы первые траловые суда ушли в Охотское море еще до закрытия навигации. Об этом говорилось на всех собраниях, этим жил завод.

Как-то Лушкина позвали в партком.

— Ну, товарищ Лушкин, как дела? — спросил однорукий, в кожаной перчатке, секретарь парткома. По его выправке, по старому, хорошо выглаженному костюму, с еще не исчезнувшими следами от погонов, было видно: воевал мужик. У секретаря парткома желтые от курева зубы и часто вздрагивает щека. Но взгляд спокойный и медленный — такой, точно он что-то видит за твоей спиной.

— Есть мнение и просьба одна к тебе. Что такое профсоюз? Приводные ремни, так сказать. Это ты понимаешь?

— Понимаю, — ответил Лушкин, еще не догадываясь, куда клонится разговор.

— Приводные ремни, так сказать, школа коммунизма. — И, считая, стал загибать пальцы: — Кузница кадров — три... Теперь на другой руке посчитаем. — А руки-то другой у него не было: забыл об этом секретарь. Он растерянно, виновато как-то глянул на Лушкина. У Лушкина в горле запершило. Он кашлянул. А секретарь, словно после захлебнувшейся одной атаки в новую кинулся: снова считать стал, загибая пальцы на той же единственной руке.

— Профсоюз у нас ни черта не делает — раз. Человека в нем нет настоящего — два... Это уже семь. Потому что руководит этим профсоюзом человек с каменным сердцем, ты его знаешь. Времени тебя агитировать нету, поэтому слушай и не перебивай. Скажу тебе немного теории. В каждый исторический момент должны быть люди, соответствующие духу времени. Что у нас главное за спиной на нашем этапе? Война. Основной контингент рабочих? Молодежь. Старых мастеров да «броневиков»? Раз, два — и обчелся! Пер-

вые для сохранения мастерства, а вторые по болезни от фронта уцелели. Сейчас вести людей к светлому будущему должны те, кто проверку на разрыв прошел. Работник ты, конечно, в своем деле неплохой. Разметчиком стал. Специальность. И рабочую жизнь знаешь.

Лушкин молчал — не ожидал такого.

— Ну вот и все, — сказал секретарь. — Иди и подумай. Через два дня скажешь ответ.

И, когда Лушкин взялся за ручку дубовой двери, добавил:

— Я бы на твоём месте и раздумывать не стал. Зайди пока в завком, ознакомься на всякий случай с бумагами, чтобы представить характер твоей будущей работы...

Если раньше Лушкин считал, что профсоюз — это распределение путевок в дома отдыха и санатории, устройство ребят в детские сады и ясли, то теперь он пришел прямо-таки в ужас от количества папок, списков, планов (невыполненных), писем и запросов (на которые еще никто не дал ответа). Здесь были письма из подшефных колхозов, райисполкомов, райвоенкоматов, заявления о мордобое и пьянстве, жалобы на управдомов и мастеров, заявления о помощи и рацпредложения. И все это, выходит, Лушкин должен был вместить в себя, переработать и внести какие-то предложения.

Весь день Кузьма просидел в сыроватой, выходящей своим единственным окном к топливному складу комнате завкома, зажав голову руками, потому что так ему удобней было с непривычки читать бумаги. Он никогда никем не командовал, никогда не принимал решений, касавшихся кого-то, кроме него самого. А поздно вечером, выгребя из всех ящиков стола все эти заявления и письма и сложив их в рюкзак, оказавшийся здесь, он увез все это домой и читал всю ночь напролет.

Заводу срочно, неотвратимо требовался детский комбинат, куда бы входили ясли и детский сад. Заводу необходимо было расширить свой жилой фонд. Надо было подальше убрать от завода все пивные ларьки и закусовые с водкой, надо было расширить учебный комбинат. Надо бы подобрать и выделить людей в подшефный колхоз, а для колхоза нужно отремонтировать десять тракторов, среди которых были уже почти уникальные «Натики», «СТЗ» и чуть больше

распространенные «Комсомольцы». Все это было в письмах и заявлениях. Некоторые из них были в копиях, значит, оригиналы ушли к директору. А секретарь парткома уже приходил к нему в цех, мол, план ждет на будущей неделе, во вторник к десяти часам утра.

Когда Лушкин подсчитал все заявления по поводу детских садов, когда представил, сколько семей влачит в общем-то жалкое существование в бараках, где стены навывлет пробиваются железными амурскими ветрами в феврале и ребенку нельзя ступить зимой босиком на пол, когда даже при натопленной печи ноги под столом мерзнут и надо надевать валенки, если они есть, он понял, что больше всего от этого всегда страдают дети, потому что, пока ты не дорос еще до пояса взрослого человека и от пяток до макушек оказываешься в холодном климате, ангина, бронхит, а то и воспаление легких тебя постоянно подстерегают.

«Э, не те дети пошли, военного образца, дунь на него — он и завянет, форточку открой — простынет. Вот мы были... — подумал Лушкин и припомнил свой дом на Волге: с добротными стенами и теплым, чисто выскобленным полом; с хорошим харчем — без разносолов, но дающим силу. — А эти?.. Ведь многие из них родились, когда отцы ушли на фронт, и были вскормлены молоком матери, получавшей в день по фунту хлеба, по двадцать граммов жиров и по сто граммов рыбы в день. Да еще двенадцать часов выстоявшей у станка!»

Айгуль ходила за спиной мужа, беспокоясь о нем, а Лушкин сидел, опершись голыми локтями о стол над кучей заявлений, писем и запросов, и думал: не получится из него профсоюзный работник. Но он был благодарен фронтовику, бывшему начальнику политотдела дивизии, а ныне секретарю парткома за эту возможность увидеть жизнь завода целиком.

Он понимал, что нужно обновлять станочный парк и расширять цеховые бытовки, и есть непорядки с поставкой металла, и не хватает мужчин; и понимал, что придет время, когда еще острее будет ощущаться нехватка мужчин, ибо так и не родились многие мальчики, которые родились бы, не будь войны, а не родившись, не сделаются рабочими. И Лушкин хотел мальчика, и не одного, а чтобы за его спиной сейчас на широкой, пусть одной на всех, кровати, как он ког-

да-то с братьями, спали пацанов шесть, похожих друг на друга.

Много надо было заводу. И вдруг все лозунги и плакаты, призывающие жить во имя будущего, что висели и в третьем цехе, где работал он, увиделись ему иначе. Да, будущее — это дети, которые выйдут из рук нынешних людей, и забота о них — есть настоящее тех, кто живет сейчас.

К утру, когда посветлело окно, когда в открытую форточку потянуло пахнувшим сыростью ветром с реки, Лушкин понял: главное — детский комбинат. Надо строить детский комбинат и жилье. А все остальное приложится.

Он мог еще поспать до работы часа два, поставил будильник и лег, не раздеваясь, на диван, закинув руки за голову, спокойно и умиротворенно, не ведая о том, что болезнь уже исподволь снова начала вгрызаться в него, угрожая лишить его возможности не только работать, но порою и ходить.

Утром пришлось вызывать врача. Не смог пойти он на работу и на следующий день, и до конца недели. Айгуль сама была в парткоме.

«Спасибо, товарищ Федоров, за доверие, но не хочу подводить», написал он в кратком письме на имя секретаря.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В фойе заводского Дома культуры висели две большие картины, подписанные: «Иван Высотин».

Множество раз Лушкин видел эти полотна. И только после того, как у него в доме на стене возникло панно с девочкой, лошадью и степью, что-то повернуло Лушкина навстречу этому искусству. И вновь придя в Дом культуры, он уже внимательно разглядел картины Высотина. На той, что висела справа от входа, был изображен партизанский отряд, идущий сквозь заснеженную тайгу. Впереди ехал пожилой командир на лохматой лошади, крепконогой, заиндевелой. Он сидел на ней в валенках, упираясь ими не в стремя, а во что-то подобное им, сооруженное из ремней. У командира были голубые глаза, смуглое лицо, он был сосредоточен и угрюм. Рядом с лошадью на широких, обтянутых шкурой лыжах, а может быть, это были про-

сто снегоступы, двигался нанаец в национальной одежде с берданкой, закинутой за спину.

На втором и третьем плане были идущие неровной колонной вооруженные люди, вдали на сопках темнели кронами кедры, и над всем этим висело низкое белесое небо.

Картина была большой, она занимала почти всю стену, и Лушкин долго стоял перед ней.

Неизвестно почему ему стало грустно, и он сам не мог найти причину этой грусти. Какая-то тревога охватила его. Тревога и тоска. Вглядываясь в картину Высотина, он вспоминал работы Айгуль, и она увиделась ему сейчас далекой и загадочной. Он силился понять ту внутреннюю жизнь ее, то движение души, с которым Айгуль была возле него все эти годы. Ведь, в сущности, та Айгуль, что осталась сейчас дома, была совсем не похожа на ту Айгуль, которую он встретил несколько лет назад, плачущую, испуганную. Он ревновал ее к ней самой, его тревожило, что она обрела свободную женскую красоту, уверенность в движениях. Ему казалось, что все это пришло к ней без его участия. А он все это время был занят самым собой, заводскими делами.

Он долго стоял перед этой картиной Высотина, но потом, обернувшись, словно впервые увидел второе его полотно — тоже большое, метра два на три или три с половиной, продолговатое, и уже не мог оторвать от него глаз. Создавая эту вторую картину, художник, казалось, стоял на высоком утесе, на вершине скалы и смотрел на открывшееся перед ним пространство. Могучая свинцово-серая река катила свои хмурые воды куда-то в левый нижний угол картины, и стрежень ее кое-где закрывали вершины сосен. А дальше был пологий берег с дикими травами и перелесками, с кое-где проблескивающими не то озерцами, не то излучинами, а еще дальше, за рекой и лугами, простирался могучий и невесомый, словно летящий куда-то, горный хребет. Здесь небо тоже было суровым, и только под самым хребтом и у верхнего обреза картины яростно, обещающая могучий солнечный разлив, сверкала голубизна. В этих проблесках была какая-то взрывная сила, они оживляли краски. Рядом с ними река казалась глубокой, хвоя сосен — тяжелой. Громадность, даже какая-то бесконечность пространства завораживала, и у Лушкина возникло такое ощущение, словно он стоит

не на паркете пустынного в этот час фойе, а рядом с художником на неизвестной, но, видимо, очень высокой вершине.

Вернулся Лушкин домой со смятением в душе, с такой усталостью, тяжестью во всем существе своем, точно вышел из окружения. Насколько бы ему было легче, если бы Айгуль занялась чем-то иным, вязала бы, например, или вышивала что-то. Ничего иного он для нее придумать не мог: его мать вышивала, и бабушка его вышивала тоже, и бабушкина бабушка. Хранились их пожелтевшие кружева и вышивки в сундуках, по стенам висели, пока дом целый был. И сгорели вместе с домом, вместе с матерью, вместе с большой и долгой историей рода Лушкиных.

Сначала соседи, потом дети, которых Айгуль теперь часто зазывала к себе, и соседская Танечка — эта маленькая женщина очень гордилась перед малыми и взрослыми тем, что ее нарисовали на картине — разнесли весть по поселку, и в один прекрасный день в цех к Лушкину пришла директор заводского Дома культуры Арина Даниловна Перфильева.

— Что же это ты, батюшка, в тряпочку помалкиваешь? — спросила она, подбоченясь.

— Не пойму я вас что-то, — замялся Лушкин, глядя в синие глаза блондинистой и рано располневшей Перфильевой.

— Ну как же? Я по всему городу художника ищу, сколько халтурщиков приходит, сколько денег на них стравили, а ты сокровище у себя скрываешь. Давай-ка показывай.

Лушкин молча слушал, вытирал руки ветошью и не знал, что ответить. И снова тоскливая опаска ворохнулась в груди: потеряет Айгуль.

— А я и не прячу, — как можно спокойнее ответил он. — Вы же не спрашивали. Тут дело такое — о себе кричать не станешь.

— А раз не прячешь, то вот что, дорогой товарищ. Мы сегодня к тебе с инспекцией явимся. Понял? С инспекцией!

Лушкин молча пожал плечами. Он вернулся с работы, умылся, поужинал, а переодеваться в пижаму не стал.

— Разве ты должен еще идти сегодня? — удивленно спросила Айгуль.

— Да нет, — ответил Лушкин. — Гостей жду.

К нам придут сегодня. Вернее, к тебе. Работу твою будут смотреть. Наши из Дома культуры.

Перфильева пришла вечером и не одна. С нею были еще две женщины — молоденькие, похожие на студенток — члены художественного совета. Когда с порога они увидели расписанную стену и другую живопись Айгуль на стенах, лица их отразили крайнее волнение. Перфильева после долгой паузы выговорила:

— Да... Вы где-нибудь учились? — и не дав ответить Айгуль, спросила Лушкина: — Ну и как же пойдет дальше?

Лушкин пожал плечами.

— Нет, это зарывать в землю нельзя, это преступно, — вновь обрета себя и размашисто жестикулируя, заговорила Перфильева. Теперь она уже не отрываясь смотрела на Айгуль. — Вы должны работать у нас в Доме культуры! А потом вот что: я знакома с Высотиным. Я приведу его сюда и попрошу посмотреть.

Потом на кухне все они пили чай, и Лушкин несколько раз перехватывал тревожный и пытливый взгляд, которым Айгуль посматривала на гостей, на Перфильеву. Когда они ушли, Айгуль взяла Лушкина за руки, посадила на диван и села с ним рядом.

— Ты думаешь, я ничего не вижу и не понимаю, что происходит с тобой? — сказала она. — Если это, — она кивнула головой на расписанную стену, — будет разделять нас, больше не возьму в руки кисть и краски. Пойми, если бы не ты, ничего бы этого не было.

— Я рад за тебя. Рад, что у тебя получается. И они правы, нельзя, чтобы все это было только здесь. Правда. Ты должна идти работать в Дом культуры.

Перфильева сдержала свое слово неожиданно скоро: через день она привезла к Лушкиным Высотина и секретаря парткома. Тайны о том, как ей удалось уговорить художника — этого пожилого, грузного и, по рассказам людей, тяжелого на подъем человека, не было: от этой настырной громогласной бабы не отделаешься. И он приехал. Долго и тщательно вытирал ноги, потом так же долго и внимательно рассматривал роспись, затем отрывисто спросил:

— У вас есть еще работы?

И Айгуль неловко и суетливо принялась выстав-
лять этюды — на картоне и полотне, раскладывать их

по стульям, на полу. Лушкин и не предполагал, что их у нее такое количество, более половины он никогда не видел.

Высотин смотрел выцветшими усталыми глазами, и его замкнутое одутловатое лицо постепенно добрело.

Хотя Высотин и не спрашивал у Айгуль ни о чем и не говорил ей ничего, взаимопонимание у них было полное.

— Учиться бы вам, матушка, учиться, — вдруг произнес глуховатым голосом Высотин.

— Я никуда, никуда не поеду, — поспешно ответила Айгуль, разобрав его слова.

— А можно и не ехать, дома учиться. Самой. Направлять свою работу. Стержень нужен. Поставить задачу и решать ее. Школа вам нужна.

И вдруг Айгуль заплакала. Она в это время сидела на диване, а Высотин стоял рядом и положил ей на голову свою тяжелую старческую руку и подержал эту руку так некоторое время. Потом он обернулся к Лушкину и сказал:

— Знаете что, молодой человек, приходите вместе с вашей женой ко мне, в мастерскую...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Старый грузный человек, повидавший много на своем веку, знавший десятки начинающих художников, из которых ничего не вышло и ничего не выйдет, унылых и однообразных, с редкими проблесками таланта, человек, который уже более страдал от обилия знакомых, нежели жаждал их, был в общем-то потрясен этой встречей. Он сам не понимал в чем тут дело, и долго после возвращения от Лушкиных сидел у себя в мастерской.

Его уговаривали посмотреть работу молодой художницы, и он отступил перед натиском Перфильевой, мол, художница — человек из рабочей среды, глухая с детства.

С людьми, которые должны были отвести его по адресу, он договорился встретиться на перекрестке. Они ждали его — полная женщина и подтянутый, сосредоточенный, в поношенном офицерском обмундировании, коротко стриженный, средних лет мужчина с орденскими колодками и нашивками за ранения на кителе и

безжизненно висящей правой рукой. Кожаная перчатка на правой руке его сразу бросилась Высотину в глаза.

Он шел, совсем не думая о том, что ему предстояло. Он видел залитый ярким оранжевым солнцем город: асфальт, здания, окна в них, пестрые толпы прохожих — все несло в себе оранжевое, — как на азиатских этюдах Коровина — с базарами, яркими зонтиками, с какой-то удивительной гармонией цветных пятен, создававших броский, радостный, многослойный ритм жизни. Он думал, что если бы он с самой юности позволял себе поработать и в этом не главном, как он считал для самого себя, жанре, то сейчас, когда он стал вполне городским жителем, когда на его глазах, буквально при нем, кончилась одна и началась вторая жизнь огромного города и когда сердце его стало особенно чутко отзываться на пронзительность красок и линий, он сумел бы многое сделать.

Эта погруженность в самого себя, предвзятое, в сущности, отношение вначале заслонило от него суть работы молодой художницы, а потом, когда он вгляделся и когда заставил себя смотреть, как он смотрел бы в любой мастерской чужие полотна, он забыл и про автора. А всегда, всю его жизнь художника, работы и автор становились для него единым целым. Это было не правильно, он об этом знал. В столичных кругах, в крупных художественных коллективах художники жили иначе, по другим, иным законам, чем жил он. Он не стремился изо всех сил участвовать в зональных и республиканских выставках, и всегда это участие происходило словно помимо его воли, само собой. Может быть, в крупном художественном коллективе, подстегиваемый чужими успехами и тщеславием, и он усвоил бы их меру жизни, но в этом городе, где художников было не так уж много, он придерживался других творческих критериев. Ему нравилась его жизнь, его состояние духа, и свои семьдесят лет он прожил так, точно выпил каждый час и каждое мгновение малыми глотками, словно смаковал их.

За свою жизнь он написал множество картин. Иногда на выставках, без него или в его присутствии, эти его картины, изображающие весенние половодья, уголки тайги, таежные панорамы, скалы и ручьи, отдельные деревья, на которых кору хотелось потрогать руками, и казалось, что хвоя кряжистых кедров свисает

из картины, как будто в окно, — иногда эти «Сумерки» и «Рассветы», «Серебряные дни», «Будет дождь» и «Поросль» называли этюдами, но Высотину это было глубоко все равно. Высотин называл их картинами, так много вкладывал он в них самого себя и так серьезно каждая из них занимала его. По этим картинам он мог выложить свою биографию, но странную биографию, биографию не поступков, а чувств. Поступков у него в сущности и не было, и прожил все свои годы он все в том же доме на втором этаже, и мастерская наверху у него появилась только тогда, когда здание, еще дореволюционной постройки, в котором он жил, надстроили еще на два этажа.

Он понимал, что в судьи он, в сущности, не годится. И это его опасение, что он может оказаться неправым, отгородило от него автора — смуглую худенькую женщину, бледную от волнения и потому какую-то невзрачную, скомканную, неловкую, совершенно растерявшуюся, может быть, от неожиданности этой встречи. Кроме того — всегда он смотрел чужие работы на нейтральной почве: в залах, в классах, на каких-то выставках, а тут был чужой дом со своим укладом жизни, запахами, обстановкой. Но Высотин увидел фантастическую траву, необычную степную даль, почувствовал щемящую нежность, которую испытывал автор к девочке, изображенной в правом углу картины, картину с завистью этой девочки к убегающей от нее лошади и словно зовущей ее за собой — власть ветра и пространство были сильнее для сердца лошади, чем привязанность к этому ребенку. Лошадь должна была уйти от девочки; горе, может быть, первое горе, переживает ребенок...

Потом он смотрел натюрморт «Цветы». Обычный натюрморт, когда художник специально подбирает букет, специально организует фон и освещение. Но эти цветы возникали на полотне как-то внезапно, и в них все было не так, как на самом деле: и могучие стебли сквозь светлую с листьями воду, и сами лепестки, еще дрожащие и плотные, и расположение красного и желтого, и четкие, словно вырезанные, почти фиолетовые, а не зеленые листья. Они завладели его сознанием, и он никак не мог уложить в одну сцепку и эту степь, и эти цветы.

По дороге домой он пожалел, что не разглядел автора, и нашел себе оправдание — помешало присут-

ствие посторонних людей и особенно мужа художницы, Высотин наткнулся на его взгляд, взгляд тревожный и непроницаемый, словно приход Высотина означал для него опасность.

И уже по дороге домой он вновь подумал, что панно на стене — в сущности, какой-то странный портрет автора. А цветы — что-то вроде выздоровления души. Видимо, прошлое — детство и степь — в то время, когда она писала, цепко держали ее. А потом пришло выздоровление — выздоровление души. Свобода. Та самая свобода, о которой мечтала девочка на панно, пришла к ней, повзрослевшей, спустя много времени, в этих «Цветах».

Что лежало между двумя этими периодами не по времени, а по существу, Высотин мог бы увидеть, посмотрев все, что ему показывали, но не увидел. И жалел теперь об этом, и корил себя, и даже хотел вернуться, но ему было неловко. Он не за свой авторитет боялся: ему сделалось стыдно. Ведь в общем-то он ничего не сказал определенного этой женщине, он даже не увидел ее.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Реконструкция завода — процесс мучительный, хлопотливый, в него втягивается большая масса людей. Каким бы ни был большим завод, сколько бы тысяч людей ни работало в нем — не оставалось ни одного, кто бы не был участником этого дела.

Пока это происходило в проектных институтах и конструкторских бюро, на заводе ходили только слухи: говорили, прикидывали, еще не зная точных цифр, попусту спорили в курилках. Возникли сторонники и противники модернизации. Но потом, когда проекты вышли на плацдармы цехов, тут и началось. За спинами работающих у станков в механическом цехе грохотали пневматические отбойные молотки, разбивая бетон пола, — готовили фундаменты для новых станков. Новый дизель — мощнее старого в десять раз — требовал для своего производства расстановки станков в иной комбинации, чем прежде. Если блок дизеля «К-20» можно было подать со строгального станка на фрезерный с помощью простого подъемного устройства, то сейчас понадобилась особая передвижная плат-

форма и нужно было столько места, чтобы деталь свободно проходила между рядами работающих. А сдвинуть станок, весящий десятки тонн, с одного места и переставить на другое — непросто. Опора для него должна быть надежной, идеально выверенной. К тому же передвинуть надо было десятки таких станков, и все это — не останавливая основного производства.

Цементная пыль оседала на спинах стоящих у станков, непрерывный гул до глухоты забивал уши, а Лушкину стук отбойных молотков напоминал стрельбу станковых пулеметов. И порой ему казалось, что сидит он в окопе, а где-то позади, в тылу дивизиона, блуждает немецкое подразделение — частота и звук заводской пневматики очень были похожи на то, как стреляет немецкий МГ-34, так же очень резко, сухо, отрывисто. У МГ-34 был лающий звук, немцы не жалели патронов и били из пулеметов долгими, длинными очередями.

Почти целые сутки передвигали карусельный станок, самый мощный и тяжелый. Готовились к этой операции тщательно. Сначала сняли все лишнее оборудование, хотя и после этого карусельный остался тяжелым и неуклюжим. Нарезали из труб стальные катки. Загнали в цех тягач... Начали передвижку в субботний вечер, когда уходила уже вторая смена.

Еще недавно была война, еще так остры воспоминания о ней, еще так опасно война жила в Лушкине, в его разбитых костях, что все происходящее рядом с ним он сравнивал с войной. Катили станок, а он помнил, как катили они свою пушку по гати стволом вперед, чтобы можно было опустить ее с ходу, не разворачивая, в окоп, отрытый для стрельбы, катили метр за метром, шаг за шагом, — и рабочие делали свое дело так же упорно. Там, на гати, Лушкин остро чувствовал родство свое с ребятами из расчета: Магометом, Петровым, Павлухиным, Овтушкиным. Это было не ощущение дружбы, дружба была и прежде. А тут возникло родство, наверное, такое, какое испытывают близнецы-двойняшки. И, когда орудие колесом придавило ногу Магомету, больно было Лушкину. Больно на самом деле. И Магомет-то молчал, а закричал Лушкин.

Так и здесь во время перетаскивания станка увидел ребят, с которыми работал. Потом в курилке они разложили на столе свои узелки, заварили прямо в ведре

чай и пили его из жестяных кружек, а из раскрытых дверей курилки был виден еще опутанный тросами, но уже стоящий на том месте, где ему отныне положено было стоять, карусельный станок... И было как-то странно думать, что они, двенадцать человек, передвинули эту махину и установили так, что почти не потребовалось никакой доводки.

Диоген сказал:

— Можно было и ничего не снимать, а перетащить со всеми потрохами, как у нас в Заречье храм перетаскивали — со всеми крестами.

— Какой храм?

— Дорогу прокладывали, а тут храм. Ломать жаль, одиннадцатое столетие! Над окошками кирпичные узоры, маковки стрельчатые. Тогда нашелся один, смекалостый. Хотя и молодой был — вроде вот Лушкина. Только инженер, а не работяга. Систему придумал — катки, домкраты. Приподняли храмину и скатили на тридцать метров. Хотя месяц так-то вот ехали. И я на ём ехал. Целый час ехал... — Диоген помолчал и вдруг добавил: — Когда приехал сюда еще в гражданскую войну и увидел этот завод, подумал: а не одна ли щкола мастеров? Ведь построен-то как, как сложен-то: кирпич к кирпичу, камешек к камешку, шовик к шовику — заподлицо, так сказать.

— Вот и тебя, Диоген, вспомнят лет через двести. Вот станок-то, его Диоген перетаскивал...

И заговорили. И смысл этого предутреннего, после тяжелой напряженной ночи разговора был таков, что быстротечна человеческая жизнь, и не увидеть ныне живущим того, что возникнет через тридцать или через сорок—пятьдесят лет, и, может быть, дизеля такие, как они настраиваются делать, не нужны будут — люди сочнут такое, что закрутится от ветра или одного вдохновения. Нажмешь пальцем кнопку — и станет эта будущая штука давать тепло и свет без заправки.

Диогену можно было говорить, не боясь насмешек. Серьезным был Диоген. Он умер вскоре после того, как прошла реконструкция на заводе и стали выпускать новый дизель. На его могиле не говорили громких речей. Ни чинов, ни орденов у Диогена не было, но когда с кладбища шли домой, чувство такое было, что человечество сильно поредело.

Но тогда Лушкин еще не знал этого. И ему еще

предстояло узнать, что главная трудность в переходе на выпуск нового дизеля у них еще впереди, и состоит она не в передвижке станков, переделке полов и расширении окон, а в них самих, в людях.

Порой Лушкину казалось, что он прожил огромную жизнь, что ему очень много лет. Нет, не одну жизнь прожил он, казалось ему, а две. Одна осталась далеко позади, довоенная, за Волгой. Она была и закончилась так давно, что сейчас представлялась ему нереальной, словно приснившейся когда-то. Война отрезала ту прошлую жизнь от нынешней непреодолимой чертой. Временами он думал о том, что было бы с ним, каким бы он сделался, возвратясь с войны на родную землю, в родное село, если бы не сгорело оно вместе с его домом.

Он пытался представить свой образ жизни в этом случае, но воображение давало ему возможность увидеть лишь калитку, дверь в сени, одинокий тополь на фоне рассвета, ощутить под босыми ногами тропинку, по которой он убегал с удочкой к реке. А эта вторая жизнь, которой он жил теперь, сама по себе казалась ему огромной и долгой.

Но на свете он прожил еще неполных тридцать пять лет. И эта крохотная цифра тоже казалась ему нереальной рядом с тем, что он увидел, и узнал, и пережил в этой своей второй, послевоенной жизни, здесь, на большой дальневосточной реке.

Временами неясная тоска по детству, по прошлому овладевала им на короткие мгновения: что-то вдруг в воздухе, в звуках, в красках дня или ночи, в каких-то неосознанных им ощущениях смыкалось с детством, и томительной болью наливалось сердце так, что оно тяжелело, как сосуд, подставленный под струю воды, тяжелеет в руках.

Мысли об этом пришли к нему, когда до его города оставалось еще около трех суток пути. Бесшумно прополз за пыльными окнами вагона бревенчатый, подслеповатый, с высокой остроконечной крышей, старинный вокзал какой-то станции. Был рассвет, сизый и ровный. Такое бывает в самом истоке дня, когда до восхода солнца еще несколько часов, еще земле предстоит повернуться на добрую треть, еще в распадах и прогалинах лежит ночная тьма, а на открытых ладонях зем-

ли темень поредела, отозвалась на близкое присутствие солнца.

Потом, в разгар дня, просверкала острыми гребнями волн стремительная река, прокатился по обе стороны железнодорожного полотна одноэтажный, но уже пробуждающийся к новой жизни — с незаконченными стройками и подъемными кранами у горизонта — небольшой городок, мелькнул черный от времени коротенький домик разъезда, и восемьдесят второй подошел к Чите. Его остановили почему-то не у первой платформы — там стоял пригородный поезд; восемьдесят второй оказался почти в тупике, отгороженном справа и слева молчаливыми товарными составами, где тяжелые закрытые пульманы перемешались с открытыми платформами, груженными кругляком, досками, комбайнами — это справа, и каким-то зачехленным грузом — слева.

Вот эти платформы, укрытые видавшими виды брезентовыми чехлами, — и обратили мысль Лушкина к его жизни.

Видимо, никогда не уйдет более из его сознания война, никогда. И странное чувство испытал он, обращаясь к этому зачехленному грузу на железнодорожных платформах и неподвижным охранником на каждой из них. Чувство не то умиления, не то грусти. Повеяло чем-то родным и тут же отозвалось болью в перебитых и сросшихся кое-как костях. Вот тут-то он и подумал, что война навсегда останется с ним. Не бедствием и проклятием, не инвалидностью, а той мерой, которой он после нее меряет жизнь.

Обедать он пошел в вагон-ресторан. Он был отделен от вагона, где ехал Лушкин, купейным вагоном, потом двумя плацкартными, но и они также были почти необитаемы, как и вагон Лушкина. В ресторане сидело несколько посетителей за разными столиками, и Лушкин сел за ближний. Это оказалось рядом с буфетом, где неторопливо работал человек — мужчина одних примерно лет с Лушкиным. На нем была не очень свежая белая кухонная куртка, а из-под куртки выглядывала комсоставская гимнастерка, и воротник у гимнастерки был расстегнут.

Время от времени буфетчик твердой рукой, почти не целясь, отмерял сто, сто пятьдесят граммов водки или вина. Отпускал редким клиентам конфеты и пряники, но все это он делал так неторопливо и одновре-

менно так быстро, что Лушкин понял — это бывший старшина с продсклада.

Напротив Лушкина за столик сел майор. Здоровье распирало этого человека, и гимнастерка с портупеей, казалось, были ему тесны. Майор покосился на граненый стакан со ста пятьюдесятью граммами «Московской», которую взял себе Лушкин; поколебался и попросил себе столько же. Видимо, майор был полевым офицером. И подтянутость его, и то, как неловко, одним только зубом вилки он подцепил ломтик огурца и закусил, — все говорило о том, что к ресторану майор не привык. И это неожиданно сблизило с ним Лушкина, потому что и сам Кузьма обедал в ресторанах, в вагонах-ресторанах, лишь когда ездил лечиться, но и то, если честно признаться, половину названий блюд, указанных в меню, он не понимал, потому и заказывал себе то, что сумел понять, — жаркое по-домашнему и селедку.

Долго они сидели молча. Потом майор, обернувшись к буфетчику, спросил:

— Слушай, браток, а нет ли чего из гостинцев?

— Есть, товарищ майор! — отозвался буфетчик. — Как не быть! — и он достал из-под прилавка три плитки шоколада, которого на витрине не было.

Майор расплатился, достав деньги из нагрудного кармана, шоколад стопочкой положил возле себя.

— Ребятам? — спросил Лушкин, указывая на шоколад.

Майор коротко глянул на него белесыми, прозрачными глазами и ответил:

— Жене. У меня нет детей.

Наверное, все-таки выпитые сто пятьдесят помогли Лушкину спросить снова:

— Значит, вы молодожен?

— Никак нет, — сухо ответил майор. — Я женат пятнадцать лет.

Есть несчастья, которые сближают. Но та беда, которая случилась с каждым из них — бездетность, — сблизить их не могла. Однако встреча с майором и его короткий ответ и неловкость, которую Лушкин испытал при этом, снова заставили его вспомнить совсем недавнее: как в воскресенье вечером они прогуливались вдвоем с Айгуль. Было это уже после того, как Айгуль перешла работать в Дом культуры. Оказывается, жизнь Айгуль была сложнее, чем он знал ее. Не

говоря ему ни слова, она оберегала его, не рассказывала ему о себе и о своей работе, но все-таки с каждым днем он все острее чувствовал, что теряет ее. И вот он решил, что нынешнее воскресенье было даровано ему, как последняя возможность остановиться на этом пути. Когда он подумал об этом, он взял Айгуль за локоть и притянул ее к себе.

Она словно подслушала его мысли:

— Ты сердишься на меня, Кузьма?

Он сказал ей так, чтобы она видела его лицо, губы, и ему не пришлось бы повторять:

— Покажи мне все, что ты там наработала.

— А ты знаешь, — сказала она, — это можно сделать сейчас. Сегодня воскресенье. Дом культуры открыт, а у меня есть ключ от нашего цеха. Пойдем, пойдем сейчас.

На улице была уже глубокая ночь, уже давно затих опустевший Дом культуры, уже заглядывал в цех сторож, но, узнав Айгуль, ничего не сказал, а они с Кузьмой все рассматривали ее работы.

Много лет они не говорили друг с другом о детях.

— А как ты думаешь? — сказал Лушкин. — Может быть, нам стоит взять маленького? Взять и вырастить его самим?

Он еще не знал, что у нее была надежда иметь собственного ребенка.

А как хотела она иметь собственного ребенка! Почти с физическим ощущением нежности смотрела она на беременных женщин. Если бы была ее воля и возможность, она родила бы кучу детей, как у одних их соседей по дому: двенадцать девочек и мальчик. Ответить на вопрос мужа Айгуль не могла сразу. Ответить, значит, навсегда расстаться с нереальной, но очень важной для нее надеждой. И она ни слова не сказала ему. Но Лушкин видел, как дрогнули ее губы и повлажнили глаза. И он притянул ее к своей груди и сказал прямо в ее густые черные волосы:

— Ну, ладно, будет так, как захочешь ты...

А она в сущности уже была матерью всем детям, встречавшимся на ее пути. Это было видно по ее рисункам. Она не рисовала младенцев. Но вот эти мальчики и девочки с неожиданными поворотами голов, с разными выражениями лиц, рисунки ее, в которых еще сквозила профессиональная незрелость, несли на себе отпечаток какой-то личной заинтересованности автора,

и Лушкин подумал, что если бы он был устроителем выставки работ Айгуль, он назвал бы эту выставку «Все о моих детях...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Только после ухода Высотина оба они — Айгуль и Лушкин почувствовали двусмысленность его предложения. Высотин не назвал ни дня, ни часа, когда они могли прийти к нему, ни адреса мастерской...

Растерянность ожила в Айгуль тогда, когда улеглось в ней ликование: она была, конечно, счастлива в первые мгновения после ухода Высотина, как и в те дни, когда приходили к ней Перфильева и другие.

Глаза ее светились, она никак не могла успокоиться, хотела собрать свои работы с пола, со стульев, от стен, как разложила и расставила их, показывая Высотину, но руки ее дрожали, и она все оставила так, как было, и когда она заговорила, Лушкину показалось, что и голос ее изменился, и манера говорить, словно она начала слышать. Это состояние счастья передалось и Лушкину. Он тоже был рад за Айгуль и любовался ею. Но в это чувство примешалась и горькая нотка, и эта горечь звучала все более отчетливо и он заставил себя не слышать этой ноты, и стал думать, исподволь следя взглядом за своей молодой женой. Лушкин слышал про слепого скульптора. Глухим был великий композитор Бетховен. Николай Островский не видел, не мог двигаться, а писал книги.

Наверное, были и еще люди, которые вопреки физическим несчастьям прожили свою жизнь красиво и полно, оставив после себя добрые дела. Но это были люди из легенды, и примерить их жизнь к Айгуль он не мог. И Лушкин усмехался над собой, над тем, что еще несколько лет назад, когда начинала рисовать Айгуль, считал это ее личным делом. Но, оказывается, вот эта близкая ему женщина жила в каком-то ином измерении, какой-то непонятной для Лушкина жизнью. Уже не часть ее души, а вся душа ее, все ее помыслы были в этом: в холстах, картоне, красках, кистях, в замыслах, — и он чувствовал себя не участником этого, а только посторонним свидетелем, как и в фойе Дома культуры перед полотнами Высотина.

Чувство обретенного и утрачиваемого — вот что

боролось сейчас в его сердце. Он старался скрыть это свое состояние от жены. Но она вглядывалась в лицо Лушкина так, словно хотела прочесть его мысли, понять то тайное, что он прятал, и он со страхом сознавал, что скрыть своих тревог не может. Но и рассказать этого не мог — не нашел слов, чтобы передать сложность своих переживаний.

Если бы она писала только с натуры эти, как она их называла, натюрморты или виды из окна, или те кусочки природы, куда по воскресеньям вдвоем с Лушкиным, взяв этюдник с кистями, красками, холстом, они уходили на реку, по тропинкам Хехцирского заповедника. Если бы она рисовала с натуры или даже по памяти лица людей, которых они знали оба... Но Айгуль пыталась создавать какой-то свой, особый мир, и даже в то, что видела она и видел Лушкин, она вкладывала что-то свое, сокровенное.

Откуда брались эти могучие листья травы? Трава на панно, на переднем плане казалась фантастической своим золотым с темно-красными проблесками тоном. По форме они были могучими, эти листья травы, разлапистые, таких не могло быть на земле на самом деле, но где-то она их видела! Или цветы... Лушкин помнил, как однажды они собирали букет: шли они сначала через какой-то ельник, где было жарко и душно, хотя издали он показался им обоим прохладным, и острые иглы осыпали плечи Айгуль, сыпались Лушкину за воротник гимнастерки, и пахла земля под ногами, под смешавшейся хвоей с сучьями, и казалось, что еще долго земля эта будет помнить каждый их шаг.

Потом ельник кончился. Сначала посветлел, поредел заросли, потом они оборвались, как город в степи, и сразу от подножия ельника растекалось необозримо большое, первобытное какое-то поле. А за полем были сопки, нереальные из-за своей синевы, с размытыми мглой очертаниями. И они точно парили над землей. А над сопками и над Лушкиным, над Айгуль, отражаясь в ее глазах, плавилось золотое, бездонное небо. И солнцем было залито поле, и оно пестрело простенькими цветами.

Они нарвали этих цветов, совсем немного, и, чтобы им не завянуть, Айгуль намочила косынку и завернула их стебли. Всю дорогу домой — в автобусе и пешком, когда шли от автобусной остановки до поселка, цветы

эти пили воду, пахнувшую волосами Айгуль. Потом в кувшине из прозрачного стекла цветы пылали еще несколько дней.

Утром — это было уже в понедельник — Лушкин, как обычно, ушел на работу, а когда он вернулся домой, у стены стоял холст с изображенными на нем этими цветами.

При электрическом свете Лушкин не сразу все разглядел в работе Айгуль. И только на завтра, рано вернувшись с работы, он увидел, что вода в кувшине была зеленоватой и такой спокойной, что было почти видно, как она отдает свою живительную силу растениям. И цветы — желтые, пламенные, красные, с темно-коричневыми тычинками — казалось, источают дикий запах. А Лушкин знал, что на самом деле эти цветы не пахнут. И так трепетно на тонюсеньких ножках держались в цветах тычинки...

Темно-зеленые, почти синие листья, жесткие и упрямые, окружали эти цветы.

Лушкин помнил, что живые, настоящие цветы стояли на столе: листочки у них короткие, обычного цвета. А стебли на холсте — прочные, сильные.

Айгуль попыталась объяснить ему, зачем она написала цветы так:

— Я хотела создать царь-цветок. Представь себе, что мы нашли их не в поле в ста метрах от дороги, а где-то в сказочном лесу на краю земли. А еще я хотела сказать... — И Айгуль отвела взгляд от Лушкина и стала смотреть куда-то в окно, и молчала некоторое время, а потом добавила: — А еще я хотела сказать, как я люблю тебя.

Уже тогда боль коротко толкнулась в сердце Лушкина, и сейчас, когда в нем ожила та же, но только бесконечная боль, он подумал, какими неведомыми ему путями движется мысль его жены; почувствовал, что живет она вся, ее золотое сердце по иным законам, нежели живет он сам. Разве можно было говорить об этом вслух? Ему это предстояло пережить? Вот главное, что думал он после ухода Высотина. И с этой мыслью он не спал почти всю ночь, после того, как уснула Айгуль.

Он лежал на спине, так и не привыкнув к ощущению дыхания Айгуль у себя на плече, и ему мучительно хотелось встать, сделать что-то так, чтобы впустить в комнату дневной свет и снова увидеть

иными глазами все, что создала акварелью, гуашью и маслом Айгуль за их годы.

А поезд шел, шел шел... То замедляя свой бег, то разгоняясь. Холмистые долины, стелившиеся за окном, сменялись перелесками, тронутыми зеленью весны, и еще бурыми горами. Стук вагонных колес временами становился до того назойливым, что мысли в голове Лушкина невольно начинали путаться, и тогда требовалось усилие, чтобы собрать их вместе.

Лушкин мог потерять Айгуль. И потерял бы...

А началось это еще с того момента, как Лушкин впервые переступил порог механического цеха с 'листом из отдела кадров, с того часа, когда в шуме работающих станков при неярком электрическом свете, он нашел начальника цеха, потом мастера, а потом неразговорчивый и сутуловатый старик Диоген повел его к разметочной плите. Вот с того часа и стала складываться для Лушкина новая, вторая жизнь.

Поношенная солдатская гимнастерка с нашивками за тяжелые и легкие ранения — а их на правой стороне груди было немало, — наградные колодки и неизменная трость в руке, на которую Лушкин вынужден был опираться при ходьбе, породили у окружающих особое отношение к Лушкину.

В цехе были фронтовики: молодые парни, ровесники Лушкина, и люди постарше, тоже понюхавшие пороху, но эти, вторые, уходили на фронт отсюда, с завода, и вернулись, выжив на войне, опять сюда, в свой цех. И какие бы не произошли изменения на заводе за годы их отсутствия, главное у них все же осталось — ощущение того, что они вернулись в родной дом. И на заводе перед конторой стояли два стенда. На правом — фотографии тех, кто геройски прошел войну до самого Дня Победы. Другой стенд, по левую сторону от входа, посвящен был тем, кто не вернулся с фронта. Под каждой фотографией — узенькие колоночки текста с перечислением ранений и наград, с кратким жизнеописанием до последнего часа. Так вот пристально — и не раз — вглядываясь в оба эти стенда, еще острее воспринимал Лушкин то особое к себе отношение, которое возникло в цехе сразу же. Сначала в цехе, а потом и вообще на заводе.

Рабочие постарше, повоевавшие и вернувшиеся сю-

да, очень хорошо понимали, что если человек с таким тяжелым недугом, какой угнетал Лушкина, идет не в ларек торговать спичками, не садится в какое-то учреждение «записатором», не становится сторожем лодочной станции или продавцом газет, а лезет в самое пекло — к тяжелому железу, не имея специальности, опыта трудного общения с металлом, — значит, человек собирается жить всерьез. А рабочие-тыловики, примеряя его судьбу к своей, может быть, с облегчением думали, что эта война могла сделать с ними и не сделала в силу каких-то случайных, в общем-то, обстоятельств. Это рождало в них особое, бережное отношение к Лушкину. Как бы тяжело ни приходилось в тылу, как горько ни делили они в семьях щедушный хлебный паек, как ни приходилось одну пару валенок распределять на четверых детей и троих взрослых, как ни тяжело переживали жестокие амурские зимы с пронизывающими ветрами, со звенящей от мороза землей, как ни трудно было выстаивать по полторы-две смены у изношенных станков, они понимали, что даже час в залитом водой окопе под огнем, под пулями и снарядами, летящими, чтобы убить именно тебя, стоит, может быть, целой жизни в тылу. Все твое здесь осталось с тобой — и жена, хоть и постаревшая, и дети, и дом твой под дощатой крышей, и то дерево, которое ты посадил когда-то у себя под окном. И сам ты, хоть бос, гол и голоден, но цел, здоров и невредим.

Обо всем этом Лушкин тогда не думал. Может быть, оттого, что слишком был погружен в себя, оттого, что каждый шаг ему давался с трудом, может быть, от сомнения — правильную ли выбрал себе дорогу: ведь никогда прежде его жизнь не была связана с цехом.

Завод продолжал работать в три смены, и ночью, когда Лушкину не спалось в доме Дорофеи, когда разбитые суставы мучили его, он осторожно, чтобы не потревожить хозяйку, выходил на крыльцо покурить. Он видел завод — в многоярусных огнях, шевелящийся, чужой и непонятный. Никому, никогда Лушкин не рассказывал, как тяжело ему дался первый год работы. Не только физически... Ну да, прежде всего, конечно, физически, что уж тут и говорить: если все остальные оставляли себе на дорогу минимум времени, все выверено — транспорт, погода на пути от дома до проходной, — то Лушкин, чтобы не опоздать, уходил из дому раньше всех, потому что не знал, как поведут себя

сломанные кости. Он тогда еще не привык к собственному недугу, не испытал его в процессе жизни. Ему пришлось узнать, что в сылотную погоду, когда дождь или сырой снег, на дороге у него уходит значительно больше времени, потому что всю первую треть пути его ноги привыкали к ходьбе и он ничего не видел перед собой, весь отдаваясь ходьбе — расхаживался.

Ему еще предстояло узнать, что на работе у разметочной плиты необходимо стоять так, чтобы оберегать левую ногу от нагрузки, от сквозняка. И все это отнимало у него много сил и времени и отделяло его от людей, от жизни в цехе.

Но по прошествии месяца Лушкин стал замечать, что все самое трудное, самое хлопотливое на разметке деталей старик Диоген берет на себя. С другим помощником Диоген этого бы не делал. Ему самому трудно тянуться, чтобы разметать детали в самом центре плиты. Если бы это происходило от случая к случаю, а то ведь в этом состояла вся суть их работы, и тем не менее Диоген не жаловался, не просил замены, не хлопотал о том, чтобы ему в напарники дали здорового, расторопного парня с крепкими руками, хотя руки у Лушкина в общем-то были крепкими, и верный у него, оказывается, был глаз, глаз наводчика.

Цеховое начальство позаботилось о том, чтобы Лушкин, как пострадавший на фронте, трудился не полный рабочий день; кто-то из работяг подсунул ему сваренный из железных прутьев, с удобным сиденьем стульчик — отдохнуть раз-другой во время смены. А когда Лушкин увидел это особое к себе отношение, он понял, что только он сам, своей собственной волей может переделать себя так, чтобы стать вровень с товарищами. И, может быть, оттого, что, находясь рядом с Диогеном, ему было это сделать тяжелее, он с радостью уцепился за предложение перейти работать на сверлильный станок. Было это на четвертый год работы в цеху. И он почувствовал, как здесь, у станка, его оставили смущение и торопливость, и суэта, которые он испытывал, работая с Диогеном. Но Диоген «поставил» ему руку, вдохнул в него заводской дух, и он был ему благодарен.

И теперь, в поезде, Лушкину стало понятным, почему он так тяжело пережил второе открытие Айгулы: когда человек живет по общим законам здесь или на войне, когда весь ход его жизни зависит от хода жизни

ни других людей, когда кто-то за него рассчитывает и определяет его путь хотя бы на час вперед — командир батареи или начальник цеха, — жить легче, ибо это чужое решение объединяет тебя с другими людьми. А та особая атмосфера, которая окружала Лушкина на заводе в первые годы, как ни странно, сделала его одиноким. И тот страх, который он пережил из-за того, что открыл непонятное в душе Айгуль, был первое время так сокрушающ и длителен оттого, что, в сущности, он был одинок.

С пуском новой линии многое на заводе изменилось. Не обошло это и Лушкина.

Диоген вечером подкараулил Лушкина у проходной. Это произошло будто нечаянно. Они закурили, постояли, и вдруг Лушкин догадался, что Диоген, вечно спешащий к своим внукам, оказался здесь не случайно.

Разглядывая косо горящую «прибойнику», Лушкин сказал:

— Ну что, батя? Говори...

Диоген было хохотнул от неловкости. Но хохоток его погас, и тут неожиданно грустным и очень спокойным голосом Диоген сказал:

— Решил я, Кузьма, с разметкой тоже кончать... Одним словом, ухожу с плиты. К старому делу ухожу, к своему карусельному на новую линию, на бригаду ставят.

— Знаю, слышал, — ответил Лушкин.

— Это хорошо, что ты знаешь. Опять вместе будем, в одной бригаде. И вот что я хочу спросить тебя, Кузьма. Потянешь ли ты с нами? Понимаешь, я старый гриб, поверь мне, я знаю, сам переживал такое много раз. — Диоген докурил папиросу. — Еще когда завод выпускал пушечки «трехдюймовки», а потом взялись за плуги и жатки. Что, казалось бы, токарю: крутится шпинделек, стружка бежит. Одно и то же. Но, как говорит наш секретарь парткома: «Качественно — это другое качество». Ты понимаешь, зачем я это тебе говорю? У нас в цеху старая линия остается — на твой век хватит, когда-то еще снимут этот дизелек. А тут такая махина! Понимаешь, Кузьма, сейчас по-прежнему быть не может. Если на прошлом дизеле заporоли блок — семечки, хоть и хреново — выкрутиться можно. А ну-ка здесь, на этом громиле! Возле этого дизеля другой дух будет. Гордость в тебе есть мужицкая. И рабочая. Но постельного режима, ты уж прости меня, ста-

рики, за такое слово, мы никому здесь предоставить не сможем.

— Я понимаю, батя, — сказал Лушкин.

Они помолчали.

— Ты знаешь, где у меня этот постельный режим? — неожиданно, почти с ненавистью заговорил Лушкин, стуча кулаком в грудь. Наверное, это чувство передалось и его взгляду, которым он впился в зрачки Диогена. — Ты думаешь, это счастье — у всех общий котел, а у меня котелок?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Диоген не по собственной воле говорил с Лушкиным. Все эти слова, которые он произнес у проходной, но не эти, другие, может быть, мягче, может быть, более расплывчатые, исходили от всей бригады. Отливка корпуса нового дизеля была трудоемкой и дорогой, и сделать ошибку даже в одной операции при обработке корпуса — значит, повлечь за этим трудно восполнимые потери. В сущности, по новой технологии бригада Диогена, выполнявшая токарные, фрезерные и сверловочные работы, стояла где-то посередине поточной линии. И ни Диоген, ни другие члены его бригады еще в таких условиях не работали. Диоген и сам подумывал втайне: сможет ли он, человек, которому уже за шестьдесят, который не понаслышке знает, что такое радикулит и что такое, когда суставы ноют к перемене погоды, выдержать сам эту гонку? Но в какое-то мгновение понял, что, если в конце своего пути он не познает вкус этой работы, жизнь его не получит какого-то важного, венчающего все завершения. И его осторожность в разговоре с Лушкиным, в выборе момента для этого разговора проистекала именно из этого: если ему дорог новый дизель, почему не дорог будет этот дизель Лушкину? В последнюю минуту, видя, как Лушкин идет через заводской двор к воротам, Диоген дрогнул: примерил его судьбу к своей. Много тут не совпадало: ни длительность стажа, ни мастерство. Он как-то забыл и о разнице возраста, а ведь Лушкин был моложе его чуть ли не вдвое. Но останавливал Диогена весь облик этого человека и все пережитое им на войне. И когда полыхнул на него уже с несдерживаемой обидой взгляд Лушкина, Диогену сразу сделалось легко. Он

шел домой и думал: «Потянет, не потянет, в конечном итоге, не в этом же дело. Станки наши рядом, мне будет видно, как он работает, ошибиться ему не дам, на разметке же — не дал! А потом втянется, ей-богу, втянется. Доброй закваски мужик».

И было у него такое состояние, словно живую душу спас он.

Разные мысли одолевали Лушкина в тот период его жизни, когда, уже работая в бригаде Диогена, стоя у многошпиндельного, отечественного производства, сверлильного станка, он стал соучастником выпуска нового дизеля. «Что делало человека человеком, делало его гордым, прочно стоящим на земле?» — много-много раз задавал себе вопрос Кузьма. «Труд», — отвечал он сам себе.

Труд создал самого человека, но каким же тяжким бывает этот труд. В одиночку его, кажется, и вынести невозможно.

Были у Лушкина долгие часы, дни и ночи такого труда на войне. Бесконечные дороги в слякоть, в распутицу, с постромками на плече, когда всем расчетом тащили на себе пушку, не зная, куда ведет дорога, когда кончится дождь, и не рассчитывая ни на чью помощь, безнадежно и нескончаемо.

Это словно дорога через тоннель. Впереди далеко огневой рубеж — как избавление.

Сейчас, когда он вспоминал обо всем этом, тяжесть войны виделась ему прежде всего в таком выматывающем душу и тело труде. Ни бои, ни ранения, ни тот заливающий глаза пот, когда сначала Лушкин был в расчете подносчиком снарядов «сорокапятки», ни ожоги о раскаленный ствол, когда сделался наводчиком, ни страх (а он знал, как приходит страх: ослепительная вспышка в мозгу, а спустя немного немеют до локтей руки и ноги до колен) не могли сравниться с беспросветностью того изнуряющего труда.

Он думал об этом, и думал не раз, потому что чувствовал, что теперь его тянет на завод не так, как вначале, когда он нес в себе удивительное одиночество: шел на работу один, хотя рядом шли люди, и он с кем-то здоровался, отвечал на какие-то вопросы, спрашивал о чем-то сам. Он работал в цехе среди других людей, но и там оставался один.

А теперь с самого первого движения утром им постепенно начинало овладевать предвкушение чего-то хорошего, важного, а ведь он точно знал, что сегодня ничего особенного не случится.

Это началось, вероятно, с того мгновения — а жизнь каждого человека делится на мгновения, — когда у своего многошпиндельного сверлильного станка он почувствовал себя свободным, почувствовал, что ему не надо обдумывать каждое свое движение, прикидывать, что делать в очередной момент, словно кто-то думал за него. Дозированным движением, не зависимым от его воли, он подводил многошпиндельную головку к детали и наперед знал, что сверла, не отклоняясь даже на десятую миллиметра, точно вопьются в ее тело. И ему стало даже легко и удобно стоять возле станка.

Если бы его спросили, о чем он думал в это время, он бы вряд ли ответил. Но он знал одно, что все это время жил полной жизнью, и его тянуло вновь и вновь переживать это состояние.

Двенадцатого июля, — Кузьма запомнил это число на всю жизнь, — пробовали новый судовой дизель. Поблескивая маслянистыми пятнами на чугунном корпусе, плыл он над длинными рядами станков, стальные троса держали его на крюке мостового крана. Двигался дизель, словно торопясь поскорее добраться до испытательного стенда, вслед за ним шла толпа заводских. Умолкали один за другим станки, и, все нарастая, отчетливее слышались гул катящегося крана и металлический грохот его катков на рельсах под сводами механического цеха.

Потом дизель опустили на тележку, и тягач потащил ее в ворота испытательного цеха. Народ повалил туда.

Лушкин тоже остановил станок. Он видел все до конца: и как устанавливали дизель на стенде, и как пустили его сначала на холодную обкатку. Члены комиссии, руководившие испытанием, внимательно следили за приборами, установленными рядом на щите, делали какие-то записи в журнале и сосредоточенно осматривали работающий агрегат. Лушкин дождался, когда после разборки, осмотра и снова сборки основных узлов двигатель поставили на холостой режим. Дизель не сразу принял обороты. Что-то не ладилось с компрессией в двух из шести его цилиндров. Но вот наступила минута, когда, стукнув раз-другой, дизель

забубухал с громким посвистом и стал набирать обороты.

Айгуль была дома, когда Лушкин поздно вечером вернулся с завода. Он прошел в комнату, сел на диван и не заметил, как уснул.

...Да, все-таки труд, именно труд создал самого человека, и гордость умельца, отеческое отношение к делу светились в душе Лушкина.

В Еловниках до войны жил сапожник Савелий. Собственно, по этому сапожнику и знали в округе эту деревню — Еловники. Золотые руки были у мужика, шил на любой вкус. Хочешь с широким носком — пожалуйста, хочешь с узким — ради бога! Хочешь союзки — на тебе, хочешь голенища сапог в обтяжку — получай сапоги «бутылками», «по-купецки».

У крестьянского народа ноги нестандартные, столько исхожено этими ногами, столько выростов на костях: то шпоры на пятках, то мозоли торчат. А Савелий сошьет — и нога как в раю, а уж о прочности и говорить нечего. Наверное, и сейчас донашивают савельевские сапоги с его подошвами внуки тех, кто заказывал ему обувь еще до войны, если живы они.

А все-таки не был сапожник Савелий рабочим человеком — он умельцем был, художником, мастером, но кустарем и остался. А тот, кто на «Красном треугольнике» заготовки вырезал одни и те же — хоть и не мог сочинить весь сапог от набоек до ушек, а рабочим человеком считался.

Потом, когда Лушкин уже втянулся в новую работу, он понял, что вот эта его взаимосвязь с остальными, необходимость быть выносливым, умелым пусть только в одной операции, — вот эта своеобразная вольная неволя и нужна была ему, чтобы, наконец, почувствовать себя не одиноким. И странное дело: не тогда Лушкин увидел лица людей и разглядел людей вообще, когда его берегли, когда прощали все срывы и задержки, а сейчас.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Когда Высотин неопределенно пригласил их к себе в мастерскую и ушел, Айгуль, с трудом скрывая радость и растерянность, сказала:

— А это даже хорошо, что он ни адреса не дал, ни времени не назначил. Зачем?

Лушкин не ответил, только улыбка тронула его губы.

Однажды в воскресенье утром вместо обычной спортивной одежды он попросил дать ему костюм, белую сорочку и галстук. Айгуль с удивлением подала ему все это. Он тщательно пригладил новенькие наградные колодочки, потом пошел в ванную и, сбросив майку, вымылся до пояса. С мылом тер мочалкой шею, потому что рубашки были в то время не нейлоновые и отстирывать их было трудно, а шея рабочего человека, как он ни мойся в заводском душе, оставляет следы на белом полотне. Потом он так же тщательно одевался, а Айгуль растерянно следила за ним взглядом.

— А ты что сидишь, голуба? — спросил он с каким-то даже воодушевлением. — Почему не одеваешься?

— Куда собираться? Мы в кино пойдем?

— Нет, — ответил Лушкин. — Нас же пригласил к себе Высотин. Вот и идем к нему в мастерскую. Нельзя не ходить — обидится человек.

Айгуль бросилась к нему со слезами...

Может быть, уже и не надо было идти к Высотину, достаточно прошло времени — почти месяц после его прихода к ним, но Лушкин повел Айгуль к Высотину не только ради нее. Живопись не сделалась ему ближе и понятней, но что-то изменилось в его отношении к умению Айгуль жить по-своему. Может, он видел теперь в полотнах Айгуль и Высотина, в репродукциях, которые попадались ему в «Огоньке», особый труд, и это заставляло уважать то, чем они занимались, как научился уважать он чужой труд у себя на заводе. Что это было, он не мог сказать, но страшное показалось уже не страшным, он шел к Высотину легко и свободно.

Лушкины появились у Высотина почти в разгар выходного дня — оба нарядные, Лушкин — в парадном костюме и рубашке с галстуком, Айгуль — в кримпленовом (тогда они только что появились) платье забавного розового цвета, который хотя и шел к ее черным, высоко уложенным волосам, был все же нелепым; платье стесняло ее в движениях, и она, и без того оробевшая, а от этого неловкая, была еще более стеснена и неловка. Она робела не только от того, что отважилась пойти в неурочный час к мастеру, которого знала по отдельным картинам и персональным выставкам. Он открыл для нее тот край земли, в котором она жила

и из которого она увидела и свою далекую степь.

Может быть, существовали живописцы лучше и совершеннее, может быть, посвященному человеку работы Высотина могли бы показаться провинциальными, мир красочных образов Высотина был Лушкину понятен. Маячила в его душе догадка, что картины Высотина и то, как видит мир вокруг себя Айгуль, имели что-то общее, что-то сходное. Он не мог ни взвесить, ни сравнить степень их мастерства, но и огромные сосны Высотина, и его могучие реки, и далекие горы, прописанные так, словно он видел их подробно и на огромном расстоянии, были чем-то похожи на необыкновенные цветы Айгуль. И Лушкин не знал, на самом ли деле есть что-то общее в манере их работы. И вдруг, когда он переступил порог необычного в своей простоте и величественности помещения, Лушкин почувствовал, словно Высотин — брат его жены, родственник.

Мастерская была похожа на зал в доме, в котором убрали потолок между двумя этажами, и далеко вверху были маленькие, но частые окна, а всю противоположную от входа стену занимали три больших окна, и было такое ощущение, точно здесь жили и работали несколько разных людей. В правом углу стоял большой, но низкий, наверное, очень дорогой, черного китайского лака стол с огромной хрустальной пепельницей на нем, с вазой для цветов, с кофейным прибором и двумя креслами — одно напротив другого по сторонам стола, будто кто-то только что сидел в них и вел мирную неторопливую беседу. Даже можно было представить облик собеседников: они должны быть хорошо воспитанными и удобно одетыми людьми.

Дальше, в глубине, стоял другой стол, повыше и длиннее, заваленный папками и рисунками и разным художественным мусором: корнями деревьев, засушенными ветками, и внизу, под этим столом, громоздились рулоны бумаги и холста, подрамники, ящики с красками, была свалка картонных листьев. Слева вдоль стены до самого потолка — стеллажи с передвижными, похожими на пожарные, лестницами.

Посередине же мастерской стоял массивный, разлапистый, похожий на большой строгальный станок мольберт, с зажатым в нем огромным холстом. От дверей не было видно, что написано на холсте, но холст был исписан, солнце напротив просвечивало его и краски на нем.

Потом был верстак, какие-то ванны, на одном из подоконников стояли цветы, на двух других — банки с букетами кистей. Была тахта, покрытая заячьим одеялом, и все эти предметы словно принадлежали разным людям разных профессий, с разными образами жизни — так показалось Лушкину, — но все это объединяло в одно целое картины, этюды, рисунки, наброски на стенах от самого пола и до высокого потолка. И все это выписано одной и той же рукой, рукой тяжелого, грузного человека, с блестящей на солнце лысиной, который тяжело сидел в большом кресле напротив мольберта. Это и был Высотин.

И, когда они вошли, он все еще смотрел на свое полотно и только спустя несколько мгновений начал подниматься из кресла. Высотин узнал Айгуль.

Смущение, нелепое розовое платье, которое таким нарядным казалось дома и на улице и которое здесь, в мастерской большого мастера, выглядело неуместным, не затмили всей ее порывистости, нервности, всей напряженности ее.

С порога увидев Высотина, сурового, погруженного в свои раздумья, и поняв, что отрывает его от дела, Лушкин удивился тому, что лицо художника сразу пошло. Наверное, так встречают детей или просто смотрят на них не потому, что они маленькие и требуют защиты и добра, а потому, что они чисты в помыслах.

— Ну, здравствуйте, голубушка, — сказал Высотин и повел вокруг себя массивной рукой. — Ну, вот мое царство. — Он так же, как и Лушкин, опирался на палку. И, когда сидел в кресле, палка была с ним, и ее просто не было видно. — И вы, голубчик, здравствуйте, добро пожаловать. Вы уж простите меня, памятью слаб, имени не помню вашего.

И он все еще не сдвинулся с места, шагу не шагнул в их сторону, даже не приподнялся. Айгуль сама первая подошла к нему и взяла в свои руки его протянутую руку.

Потом Высотин встал и бережно, чуть касаясь ладонью ее узкой спины, повел Айгуль к большому полированному столу и по пути оглянулся на Лушкина.

— Проходите, проходите, голубчик, располагайтесь.

Высотин усадил Айгуль в кресло, дождался, пока Лушкин сядет в другое, достал из угла какую-то хрупкую табуретку на тонких ножках и уселся на нее, скре-



стив руки на палке и упершись ими в подбородок.

— Ну, коллега, рассказывайте. — Высотин сказал это негромко и не отрывая подбородка от скрещенных на палке кистей рук, и поэтому Айгуль не поняла его.

Она все продолжала смотреть на него молящими глазами, и какая-то непонятная злость на мгновение стукнула Лушкина в сердце. Он сказал отчетливо и резко:

— Говорите так, чтобы она видела, что вы говорите. Айгуль не слышит, она глухая. — Впервые за годы их жизни Лушкин вслух сказал это слово — «глухая». Но тут же злость прошла, а Высотин, выпрямившись на своем утлом сиденье, обернул к нему лицо и растерянно спросил:

— Что, что вы сказали?

— Видите ли, — уже мягче повторил Лушкин, — она не слышит, это у нее с детства.

Высотин встал, подошел к Айгуль и положил ей на голову свою руку. Некоторое время они молчали. Айгуль, видимо, догадалась, что сказал ее муж художнику, она даже поежилась было. Но так по-доброму лежала на ее темени мясистая, рыхлая рука Высотина.

— Милая ты моя, — сказал художник. — Я шел от вас... — Высотин еще не умел обращаться с Айгуль, поэтому, говоря для нее, он обращался к Лушкину, точно к переводчику. — Я шел от вас тогда, — повторил Высотин, — и все думал, почему такой странный взгляд у вашей жены.

— Вы можете говорить с ней, — сказал Лушкин, — Но только, чтобы она видела ваше лицо. И слова вы старайтесь произносить отчетливо, она понимает по губам.

— Да, теперь я вижу, она многое понимает. И не только по губам. — Он убрал руку, тепло, по-отечески посмотрел прямо в глаза Айгуль.

И Айгуль, улыбнувшись просто и спокойно, сказала:

— Вы можете говорить, Иван Васильевич, как обычно, только не расстраивайтесь, я буду все время смотреть на вас. Я знаю, что это не очень приятно, когда тебе в лицо все время глядят, но у меня связь с людьми такая.

— Правда? — вдруг по-детски удивился Высотин. — Вот хорошо-то, вот хорошо. Ну, слава богу. Ты принесла мне что-нибудь? Ты сделала что-то новое?

— Нет, — сказала Айгуль, — я ничего не принесла. Я боялась. Я просто очень мечтала о том, что приду к вам и увижу ваши работы. Мы помешали вам...

— Помилуйте, да я рад, очень рад, что вы пришли! Я ведь думал о вас. Вам учиться надо, обязательно. Я помню ваше панно на стене, у вас ведь там трава говорит. Да, да, именно говорит... И это, ну вот это, — он сделал движение рукой, и стало понятно, что он имеет в виду ветер. А потом эта девочка... — Высотин помог себе руками. Он показал ладонью ее ростик над полом.

Уважение и нежность светились в его выцветших глазах.

Он помолчал опять и добавил:

— Так вы ничего и не делали с тех пор?

— Нет, — протянула Айгуль с гордостью. — Я теперь работаю в Доме культуры, и в отделе кадров завода так и написано, что я художник. — И она засмеялась своим ломким смехом: — Художник, так и написано.

— А что же, голубушка, художник! Руку набить можно. Или, как говорят, поставить руку, — можно это. А вот душу надо иметь от рожденья. А она у вас есть, я это понял сразу. Так чем же вы занимаетесь там у себя на работе?

— Там у нас целый цех. Трое. Плакаты пишут. Оформляют стенды для цехов. А я написала гуашью панно для детского ансамбля. Большое панно. Но я не умею делать больших вещей и делала панно по кусочкам. Его потом соберем как-нибудь, как детские кубики, и укрепим на стене. Я на пробу собрала несколько кусков, швов издали почти не видно, смотрится как мозаика, мне даже понравилось.

— А что, это даже очень интересно. Впервые слышу такое, — сказал Высотин.

— У нас детский ансамбль при заводе, — продолжала Айгуль. — Мальчики и девочки до двенадцати лет поют и пляшут. И я многих на панно нарисовала. У меня даже два портрета есть, в цвете. Они там, в цеху.

Она помолчала, не отводя глаз от лица Высотина, и опять засмеялась.

— Не знаю, может, мне влетит. Они у меня по сути дела портреты. И когда панно соберут, родители узнают своих. Я понимаю, этого делать нельзя, но я не

знаю, как делать панно. Просто дети, дети вообще?
— Вы мне обязательно все это покажите! Позовите меня.

Высотин оставил Айгуль и пошел к двери.

— Маша! Маша! — крикнул он. Видимо, здесь были еще помещения, жилье, — Маша, ты только послушай, что она рассказывает. — Он подождал ответа, его не последовало. Он закрыл дверь. — Как жаль, нет Маши.

Ничего Лушкин не знал — ни о панно, ни о том, что Айгуль рисует детей. И он понял, что она все время знала о его состоянии, о смятении его, знала и не хотела, чтобы он думал, что она уходит от него еще дальше. Она же все время помнила о Высотине и хотела увидеть его, и тянулась к нему, к его картинам. И вот то, что она ни намеком, ни словом не выдала этого своего состояния, сказало Лушкину о ее любви к нему больше, чем все время их жизни.

Потом Лушкин увидел эти рисунки — головки и фигурки детей. Некоторых он узнавал, потому что встречал этих ребят во дворе, в поселке, в воскресный день на выезде рабочих завода на левый берег, когда дети были с родителями. Но и тогда он знал, что эти рисунки — тоска Айгуль о ребенке.

Высотин стал показывать свои картины. Он по-прежнему включал Лушкина в разговор то взглядом, то движением, но уже не потому, что не мог обходиться без его посредничества, а потому просто, что он не отделял его от Айгуль.

У Высотина было несколько картин с видами города, и начал он свой рассказ с того, что не может писать город.

— Да-да, не удивляйтесь, не умею! — с горечью воскликнул он, заметив недоумение на лице Лушкина. — Не умею, не хочу! Вот стоишь и смотришь на перспективу, когда на необыкновенно чистом утреннем небе солнце печатает верхушки зданий. Я помню, когда на этом месте стоял горбатый дом, а сейчас — эти здания. И они кажутся легкими, невесомыми, кажется, что они летят! Охватывает ощущение бесконечности жизни — как будто я не умру никогда.

А город писать Высотин действительно не умел, не получались у него влажные после дождя крыши домов, черный асфальт улиц, не получались автомобили и трамваи, не двигались они, а стояли — крашенные. Не

умел он расставлять цветные пятна прохожих на тротуаре, не умел писать и человеческие лица!

Но Высотин умел другое. Свое впечатление от человека, свое понимание кого-то, кто задел его душу, потряс его, он мог передать и передавал через образы деревьев. Они, деревья, у него на картинах могли бы иметь каждое свое имя

...Наутро подъезжали к Сквородино. Тысячи километров русской земли остались позади, сотни рек и речек, множество станций и городов, не похожих друг на друга и в то же время чем-то похожих, как это ощущают люди, проезжающие мимо в свои далекие края.

Томительно и радостно было смотреть на медленно вращающуюся за окном землю. Она была родной и вчера, но родство это было каким-то отдаленным, когда видишь только общее выражение, а здесь сердце почувало: вот и начинается родное. Это уже был Дальний Восток. Здесь с самого раннего утра и до позднего вечера громыхало, ломилось во все окна и щели ослепительное, неповторимо яркое и испепеляющее дальневосточное солнце. И цвет камней был родным, и трава, и деревья, и горы, и даже речка, что бежала теперь рядом с насыпью.

Прошло еще больше суток. По расписанию 82-й должен прибыть в город в девять пятнадцать. Но в половине десятого он еще стоял на полустанке перед мостом через Амур, пропуская встречный курьерский.

Было удивительно тихо. Тишина словно затопила вагоны, и после нескольких суток стука и движения эта тишина и неподвижность были такими тревожными, что даже Гарпунин, спящий на верхней полке, проснулся.

Хмель его прошел. Он сидел, свесив ноги, не понимая, что его разбудило.

— Стоим?

— Да вот, стоим, — ответил Лушкин, глядя в окно.

— А ты так и не ложился?

— Нет, отчего же, — сказал Лушкин, — я спал.

— Так-так, — сказал Гарпунин, — значит, перед мостом стоим. Теперь и ресторан закрыт. Они его, гады, всегда перед мостом закрывают, а в городе ищисвищи.

— Тяжко? — спросил Лушкин.

— Есть малость, — признался Гарпунин. Он долго молчал и вдруг спросил: — А чтой-то, где-то я тебя видел. Не подскажешь?

В первое мгновение Лушкин хотел напомнить ему их давнишнюю встречу, но сдержался.

Прогрохотал курьерский, и медленно, словно сам собой, двинулся восемьдесят второй. Потом прошли мост и туннель. Лушкину было уже не до Гарпунина: на перроне его должна была ждать Айгуль, и сам он уже ни о чем больше, как о ней, думать не мог.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Неслышно подплыл перрон. Встречающих было мало. Лушкин увидел Айгуль сразу. Бывает такая близость между людьми, когда узнаешь дорогого, любимого тобой человека уже издали, даже если он одет в непривычную, незнакомую для тебя одежду.

В стройной, статной молодой женщине с высокой причёской черных волос, в легком светлом плаще, в туфельках на высоком каблуке он узнал Айгуль издали, хотя никогда перед этим не видел на ней такого плаща, этих туфелек...

Праздничная и совершенно иная, она снова больно задела его сердце, но, когда они сошлись посередине перрона и Лушкин увидел ее обращенные на него, не прячущие счастья глаза, он успокоился.

Гарпунин вышел из вагона следом. И Лушкин чувствовал, что, приотстав, он издали смотрит на них. И Айгуль раз-другой посмотрела в сторону Гарпунина, потом вопросительно взглянула на Лушкина.

— Узнаешь его? — спросил Лушкин.

— Он очень изменился, — сказала Айгуль. — Ну, как же можно не узнать, ведь мы работали вместе! Это только в тот вечер он пристал так страшно: пьяный был. А то ведь и раньше — то за руку схватит, то вдруг обнять попытается или обозлится, что я не обращаю на него внимания, и ставит на самую трудную работу.

— Мы с ним пять суток ехали вместе и почти не разговаривали. Спал да пил он почти беспробудно.

— Он здорово постарел, — сказала Айгуль. А спустя некоторое время, когда они вышли на привокзальную площадь, она добавила: — А ты знаешь, он нравился девочкам. Мне и от этого было плохо. Помнишь,

какие у нас работали девки — боевые, с военной поры. У какой мужа убили, какая так и не вышла замуж из-за войны. А он — на двенадцать девок. — И она засмеялась, оставляя в прошлом своим странноватым смехом и Гарпунина, и все, что было связано с ним.

Дома, когда Айгуль уходила куда-нибудь по своим хозяйственным делам, ее отлучки казались Лушкину необыкновенно длинными, и он с удивлением думал, как он мог столько времени провести без нее, там, один, на курорте.

Следующий день был воскресным. Они проспали до полудня, заснув на рассвете, а потом пошли в город, здороваться с ним, и на лестнице, уже перед самым выходом из подъезда, им попался навстречу Гарпунин. Он озабоченно тащил в обеих руках авоськи с бутылками. Там была водка, пиво и «палка» колбасы.

— Вот уж, — проговорил он, — судьба так судьба!

— От судьбы никуда не денешься, — сказал Лушкин.

Айгуль помедлила, проходя мимо Гарпунина, и тот даже присвистнул:

— Ты?

— Я, Гарпунин. Узнал?

— Узнал, еще бы.

— Ты здесь живешь, Гарпунин? — спросила Айгуль.

— Дружок квартиру дал. На время, в отпуске я.

— Ну-ну...

Оказывается, Гарпунин поселился этажом выше в квартире Усольцева, которого Лушкины почти никогда не встречали. Знали только, что он холост, что часто бывает в командировках, и знали — по его возвращении собирается компания таких же холостяков, как и он, и тогда до полуночи хриплая радиола наигрывала «Рио-Риту», «Брызги шампанского», «У самовара я и моя Маша».

О цели приезда Гарпунина в этот город и вообще о некоторых подробностях из его жизни Айгуль узнала от воспитательницы детского дома номер один Людмилы Михайловны Сосниной. Дело в том, что ребята из этого детского дома занимались у Айгуль в кружке при заводском Доме культуры. Завод за время пребывания Лушкина на курорте взял шефство над детским домом.

Детский дом номер один возник еще в годы гражданской войны, когда Дальний Восток был буквально запружен беспризорниками. Это были дети, которых гражданская война волной пригнала из России, дети, чьи родители погибли в боях или от голода. Зачастую невозможно было узнать ни их имен, ни происхождения, ни национальности.

Второй прилив дала Великая Отечественная война. Все ее годы сюда поступали эвакуированные из Белоруссии, Украины, лишившиеся отцов и матерей. Потом — репатриированные дети, которых немцы вывозили в Германию.

Человек с истинным педагогическим призванием, увидев однажды это несчастье, уже не мог уйти от него. Бывали среди воспитателей и случайные люди, но они долго не задерживались. Особенно когда городской детский дом номер один возглавила Надежда Федоровна Васильчикова; сама многодетная мать, она относилась к детдому и к ребятам, которые были там, как к продолжению своей собственной семьи.

Когда в педагогический коллектив детдома попадал человек, не любящий детей, и когда Васильчикова начинала понимать этого человека, она, не руководствуясь никакими кодексами законов о труде, действовала по своему усмотрению.

Так произошло и с Иваном Ивановичем Звениным. Разглядев в его обходительности и мягкости несокрушимое равнодушие, она позвала его в крохотный свой кабинет на втором этаже, посадила напротив себя и сказала:

— Дорогой Иван Иванович, я понимаю, что нет такого закона, согласно которому я могу вас уволить. Но вы и я отлично понимаем самое главное. Вы прекрасный преподаватель и вы мужчина — чрезвычайная редкость в детских домах. Этим людям, — она так и сказала: людям, а не детям, — необходимо общение с женщиной. Но ваше присутствие в нашем детском доме приносит вред. Вы человек равнодушный и вы никак не можете усвоить, что равнодушие можно скрыть от взрослых, скрыть же его от детей невозможно. Вы должны от нас уйти. Сделайте это добровольно. Я вам помогу устроиться на работу.

А Людмилу Михайловну Соснину, девушку с глазами, полными тепла и доверчивости, полюбила. Полюбила с того часа, когда она появилась после оконча-

ния педагогического института по распределению, и не побоялась — поставила ее воспитательницей старшей группы.

В детском доме велась картотека — это была обычная амбарная книга, в которую записывали всех, кто воспитывался здесь и, повзрослев, уходил искать свой жизненный путь. С некоторыми из них Надежда Федоровна вела переписку, о личной жизни многих знала подробности.

Уйдя из детдома и устроившись по ее рекомендации в одну из средних школ города, Иван Иванович написал заявление в отдел народного образования, что директор детдома номер один Надежда Федоровна Васильчикова в своих интересах путает личное с общественным. Так было и написано, такими словами. Дети Васильчиковой целые дни проводили в детдоме, здесь же обедали и ужинали, здесь же делали уроки, и найти их всегда можно было в толпе детдомовцев.

Почти все было верно в этом заявлении, кроме одного: Надежда Федоровна платила за обед и ужин своих детей — трех мальчишек, — восьми, десяти и двенадцати лет, — о чем, естественно, Иван Иванович не мог не знать. Но умолчал он и о другом, что стало известно только тогда, когда занялась разбирательством его заявления комиссия наробраза. У Надежды Федоровны и ее мужа были крепкие родственники в деревне неподалеку, и все эти братья и сестры — люди добрые и сердечные — регулярно «подбрасывали» в детдом и огурцы, и картошку, и капусту.

Проверку Надежда Федоровна пережила с каменным лицом, но ничего не изменилось в ее поведении и в отношении к работе. И Иван Иванович, сам того не сознавая, сделал доброе дело своим заявлением. То, что открылось сотрудникам детского дома, учителям из школы, где учились его воспитанники, и даже взрослым ребятам, настолько укрепило в детдоме материнский авторитет Васильчиковой, настолько сплотило весь коллектив, что даже те не многие из сотрудников, которые вели с ней себя настороженно из-за ее резкости, перестали испытывать к Надежде Федоровне недоверие. Но особенно сильное впечатление все это произвело на молоденькую Людмилу Михайловну. Она была буквально потрясена открывшейся перед ней глубиной преданности своему делу Надежды Федоровны Васильчиковой, не делу — детям.

Людмила Михайловна, или просто Люда, рано осталась без матери и, может быть, еще и потому с открытым сердцем приняла суровое, но материнское отношение к себе Надежды Федоровны.

Отец Люды, воспитавший ее вместе с двумя другими детьми, — он так и не женился после смерти их матери, — работал в МТС слесарем. Тогдашняя МТС в Нечерноземье представляла собой довольно необычное учреждение: люди только назывались — слесари, токари, фрезеровщики, а на самом деле они должны были уметь все. И токарить, и слесарить, и подковывать коней, и сваривать в кузнице две стальные полосы, и сделать дефицитную шестерню, которую невозможно было нигде достать, и починить замок, и изогнуть трубы, и наладить часы. Все это прошло на глазах у Люды, и поэтому естественной оказалась ее мысль и желание приобщить ребят к заводу. А кроме того, эти мальчишки, — а детдомовская жизнь, с какой бы любовью не относились к ней старшие, все-таки есть жизнь детдома, — эти мальчишки пережили войну в том возрасте, когда в них закладывалась будущая мужская сила и стать, и они напоминали ей ее собственных худющих, ушастых, длинношеих братишек.

Был другой путь: после окончания семилетки — из детдома в ФЗУ. Таких училищ в городе было несколько, и возникали новые — там учились строить дома, корабли, прокладывать линии электропередач. Но училища эти так мало отличались от детских домов, что Люде казалось несправедливым по отношению к своим воспитанникам переводить их из одного детдома в другой, словно продляя их затянувшееся детдомовское детство.

В одном журнале на английском языке с хорошими фотографиями была статья о новом в воспитании детей, потерявших родителей. Некая колония в Канаде создала при себе дочерний детский дом странного типа: двое преподавателей колледжа организовали подобие семьи. Для этого им предоставили дом где-то на окраине города, обставленный как по-семейному — с камином, с туалетом, с детскими кроватями, с гостиной, столовой. Преподаватели брали по своему выбору из колонии восемь—десять детей разных национальностей и возрастов. Старались брать ребят помладше. Они и сами жили там в этом доме, ели и ночевали, играя роли отца и матери, вели хозяйство.

В том случае, который был описан в статье, преподаватели эти — Кетрин Хеббен и Лари Джонсон, ветеран войны, парашютист-десантник из авиадесантной дивизии Реджуэя, поженились на самом деле, и Кетрин родила дочь.

Удивительно, как ждали приемные дети рождения этой девочки. Статью писала Кетрин. Она писала, что была потрясена таким отношением и таким состоянием детских душ. Может быть, потом, писала она, когда-нибудь, когда им исполнится по восемнадцать лет, когда жизнь напомнит им о их неравенстве в человеческом обществе, они будут думать о своей «семье» иначе, но Кетрин была убеждена — и это самое главное — они, ее воспитанники, уже испытали чувство родства со всеми людьми.

Люда несколько дней ходила под впечатлением статьи и мысленно представляла себя на месте Кетрин Хеббен, приглядывалась к ребятам детдома, словно выбирала их для себя, мысленно представляла, как бы она заботилась о них и жила с ними. И только место главы семьи оставалось в ее воображении не занятым. Своего молодого мужа Володю она никак не могла представить на месте Лари Джонсона.

Вот об этом Людмила Михайловна и рассказала Надежде Федоровне.

— То-то я смотрю, странная ты какая-то, Люда, ходишь. Уж не заболела ли?

— А я и заболела, Надежда Федоровна...

Разговор шел в кабинете Васильчиковой. Переведенная и переписанная от руки Людой статья лежала на столе перед Надеждой Федоровной.

Надежда Федоровна сказала, что знает и другое, то, чего не знает Люда, хотя должна бы знать: никто здесь не согласится платить зарплату двум людям только за то, что они стали родителями, никто не даст им такого особняка. Жилья в городе не хватает, не хватает его и по всей стране, хотя после войны прошло уже немало лет.

— Ты себе плохо представляешь, Люда, — сказала Надежда Федоровна, — как много всего потребовалось бы нам, чтобы организовать такое. Это интересно, более того, я понимаю, они пытались решить вопрос не только чисто семейного воспитания каждого из этих ребят. Здесь еще вопрос интернациональный. Ты обрати внимание — этот негр, этот араб, а этот вот — бело-

головый, — кивала она на фотографию к статье Кетрин Хеббен.

— Питтер его зовут, — сказала Людмила. — Он на финна похож. И я уверена, что никакой расизм в этой семье не будет иметь места.

— А из черной семьи?

Люда промолчала.

— У нас, ты знаешь, рожай хоть черненького, хоть беленького, лишь бы человек получился хороший. Но вот смысл семейного воспитания — это важное, стоящее внимания в их эксперименте. Еще Энгельс сказал: «Семья — ячейка государства». Но то, что у них — это эрзац семьи. Такая семья не может заменить настоящую семью. Этот эксперимент спасло только вот что. Ты обратила, Люда, внимание, что глава этой семьи ушел ведь с работы «домашнего воспитателя»? Он на завод пошел работать, литейщиком. А в этом вся суть. И канадский эксперимент можно назвать несостоявшимся, это дело все кончилось удачно потому, что Кетрин и Лари стали настоящими родителями, а не экспериментаторами. Ведь он пошел работать на завод не из-за своей дочери, а из-за этих десяти ребят. Они перестали быть воспитанниками дома, а превратились в настоящих членов семьи. Так что, Люда, статья эта не о педагогике, а о величии человеческой души. Сколько таких примеров у нас! Вспомни, как во время войны у нас усыновляли эвакуированных ребятшек. Создавались большие семьи. — Немного помолчав, Надежда Федоровна продолжала все так же сосредоточенно: — А канадский эксперимент у нас не нужен. Интернационализм? Спроси у наших ребят, кто из них какой национальности, многие из них и не скажут. Только в бумагах, в личных делах написано, что это татарин, это узбек, а это русский. Если взять экономическую сторону вопроса — и тут не в пользу канадского варианта. Ведь кто-то должен доставлять им в такой дом продукты, натаскайся-ка на десять человек, да получить их кому-то нужно. А медицинское обслуживание? Здесь у нас врач и две медсестры... Следовательно, по сути дела этот путь приведет нас к раздробленности педагогических сил. И средств у нас тоже не бесконечно много. Нет уж, голубушка... А вот насчет завода ты права, я давно уже об этом думала. И давай завтра же вдвоем пойдем в заводоуправление. Насчет этих благотворительных семей — это не для

нас. Давай уж по старинке с тобой, по-русски, по-советски делать будем.

В заводууправлении безрукий секретарь парткома, слушая Надежду Фёдоровну, переводил растерянный взгляд с сурового ее лица на взволнованное лицо Людмилы Михайловны.

— Это ошибка, — сказал он, стуча протезом по столу. — Это ошибка, — хрипло проговорил он. — Моя и ваша. И как это мы раньше с вами не додумались, а? Есть же у нас и люди, и возможности. Я нынче же соберу цеховых секретарей и профоргов. Я уверен, что каждый цех возьмет шефство над группами детдома, только надо выбрать ребят постарше. Все-таки завод. Железо. Станки крутятся. Краны подъемные грузы таскают. И в Дом культуры ребят! Обязательно. Дом же культуры у нас прекрасный. Учим мы там своих пацанов и петь, и танцевать. Рисуют они там теперь. Вот художник у нас появилась — Айгуль Лушкина.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Знакомство Людмилы Михайловны и Айгуль произошло еще до отъезда Лушкина на курорт — в феврале. Потом встретились еще раз, потом еще, потом Айгуль пришла в детский дом.

В большой классной комнате детского дома собрали ребят.

— Ребята, — сказала Людмила Михайловна, — я познакомлю сейчас вас с очень хорошим человеком, с художницей. Эта художница не совсем обычная, она талантливый человек, она нигде не училась, а просто занималась когда-то в рисовальном кружке. Попробуем и мы с вами. Зовут ее Айгуль Ильгизовна, она родилась и выросла в Узбекистане, а все остальное, что нужно, она сама расскажет вам.

И Айгуль странным своим голосом сказала:

— Ребята, давайте договоримся сразу. — Говорила она отчетливо, медленно, словно подготавливала ребят к тому, что они должны сейчас услышать. — У меня в жизни тоже было несчастье. Когда-то давным-давно, маленькой девочкой я тонула в холодной воде, очень сильно простудилась, и с тех пор я не слышу...

По классу прошел гул и замер. У Людмилы Михайловны оборвалось сердце: «Что она делает, что гово-

рит!» Сколько жило легенд о ребячьих проделках в школах над глухими учителями!

— Я глухая. Но вы не думайте, что я совсем ничего не слышу. Я слышу все, только иначе. Я слышу красками, цветом, выражением глаз, выражением ваших лиц. Я слышу пальцами рук. Ветер я слышу кожей лица. И есть что-то во мне такое, там, внутри, что позволяет мне слышать. А чтобы можно было представить, как я слышу, я покажу вам свои работы. Вот это называется «Ветер».

Айгуль принесла с собой большие и толстые и, вероятно, тяжелые папки с этюдами и набросками, стала расставлять их у классной доски.

— Вот это называется «Ветер», — продолжала Айгуль. Темная, упоенная зноем и дождями дальневосточная земля на краю поля под ветром. Дальше, на заднем плане, голубеет едва ощутимый горный хребет. И между этим хребтом и порослью березок и сосенок течет река.

И насыщенные невидимым солнцем, почти касаясь хребта, вдоль всего этюда слева направо неслись легкие и в то же время какие-то тяжелые, какие-то сытые и какие-то удивительно живые облака. А под облаками над самым хребтом, тревожа душу, не взгляд, пробивалась пронзительно звонкая, говорящая о бесконечном где-то лете и бесконечности жизни янтарная полоска солнечного света.

— А это называется «Исток», — говорила Айгуль, стоя спиной к классу и выставляя на стол новый этюд, на котором было изображено истекающее двумя ручьями озеро. Так, может быть, начинаются многоводные реки.

На первом плане, прямо перед глазами зрителей, тек ручей, прозрачный и тонкий, сквозь его воду просматривались перемытые, словно подобранные один к другому и в то же время разные, камешки.

— А эту, — сказала Айгуль, — можно было бы назвать «Весенний зов». Вы видите, ребята, на этом месте трава молодая, а на этом дереве новорожденные листья, они такие маленькие, желтоватые. Это весна.

Людмила Михайловна незаметно для себя придвинулась, чтобы ей были видны эти работы. Теперь она стояла так у классной стены, что в ее поле зрения попадали и картины; и Айгуль, и замерший многоглазо сверкающий класс. «Откуда в этой женщине, — думала

Людмила Михайловна с восторгом, — такой педагогический дар?»

И вдруг ей стало радостно, что это она сама — Людмила Михайловна Соснина — придумала такую встречу. Значит, придумала правильно.

— А знаете, ребята, мы с вами сейчас и начнем, — сказала Айгуль, поворачиваясь лицом к классу. — Люда, Людмила Михайловна, — поправились она, — можно сделать так, чтобы у каждого из нас оказался листок бумаги и карандаш? Можно занять минут пятнадцать?

— Да, да, конечно, — торопливо ответила Людмила Михайловна, — я сейчас. Сейчас я принесу бумагу и карандаши. — И она стремительно выскочила в коридор и побежала на второй этаж в комнату воспитателей. Там были тетради и пачки карандашей, уже очищенных. Там выпускали стенгазету, и там они, детдомовские воспитатели, на свой страх и риск вели занятия рисования. Главной темой этих занятий была «свободная тема». Ребята рисовали танки, самолеты, дома, бои; тот, кто поменьше, — папу и маму, которых они не помнили, а только представляли себе.

Сейчас, по пути на второй этаж, она вспомнила про то, как однажды, в самом начале своей работы, она собрала их, эти рисунки, в стопку и понесла в учительскую, чтобы положить их в шкаф — навсегда, как делается обычно в таких случаях. Тогда ей на пороге встретилась Надежда Федоровна.

— Ну-ка, показывайте, что вы тут натворили? — сказала она.

На каждой работе автор написал свою фамилию, как на контрольной. Надежда Федоровна разложила рисунки — сколько их уместилось на большом письменном столе. Ее лицо и без того строгое, стало еще более сосредоточенным, замкнутым. Надежда Федоровна была некрасивой в привычном понимании этого слова. У нее были толстые губы, крупный, почти мужской нос, высокий, как у мужчины, лоб и близко поставленные глаза.

Людам, не знавшим Надежду Федоровну, ее лицо казалось малоподвижным. Изменения в ее настроении почти не отражались в нем.

Надежда Федоровна молчала. Людмила насторожилась: может быть, на уроке она что-то сделала не так? Она приблизилась к Надежде Федоровне, чтобы

из-за ее плеча увидеть эти рисунки еще раз. Нет, все было обычным, и Людмила пожала плечами.

Наконец Надежда Федоровна сказала:

— Ты посмотри, Люда, какой трудной жизнью жили наши дети. Ведь они рисуют не то, что увидели в кино и прочитали в книгах, они рисуют то, что видели сами: вот... — Надежда Федоровна взяла со стола первый лист; на нем была изображена Александрийская колонна с каким-то смешным петухом наверху — коряво, но очень похоже. Ленинград узнавался. А внизу под колонной на площади вкривь и вкось стояли угластые, кривобокие, с огромными пушками в квадратных башнях танки, и на них — огромные звезды.

— А я и забыла, что Федя-то ленинградец, крошечным его привезли сюда. Неужели все это ребенок может помнить? Или вот посмотри, Люда, — Владимиров, видишь фамилия: «В-в». Да, Боря Владимиров... — Надежда Федоровна говорила медленно, словно только для себя. — «Мой папа» — называется. Экий у папы нос-то огромный и уши, как у слона. Да он никак летчик! Вроде китель... Да, летчик он, птички на погонах. — И Надежда Федоровна обернулась: — А ты знаешь, Люда, ведь он не может помнить отца. Он родился в сорок шестом, а отец его погиб осенью сорок пятого, здесь у нас, на Дальнем Востоке, когда с Японией воевали. А через год и мать умерла. К нам его из Дома ребенка привезли.

Когда Людмила Михайловна вернулась в класс с бумагой и карандашами, Айгуль стояла у передней парты, за которой сидел Колька Гарпунин с тем самым Борей Владимировым. Айгуль что-то говорила ребятам, а на столе, уже пододвинутом поближе к партам, находились предметы для натюрморта. Айгуль выбрала самое простое: маленький горшок с тоненькими цветками, рядом с ним — книга и коробка с торчащими из нее карандашами.

Листочки с рисунками Айгуль потом, рассматривая, разложила на две стопки.

Людмила понимала: не каждый обладает способностью рисовать. Но она сама не решилась бы никак разделить их на «черненьких» и «беленьких». И она ждала, как поступит Айгуль, готова предотвратить обиду, обычную в таких случаях. Айгуль, беря со стола тоненькую стопку листков, сказала:

— Знаете, ребята, если зайца бить по носу, он на-

учится играть на скрипке. — Все засмеялись. — Каждый может научиться рисовать. И в каждом человеке это есть, но только по-разному. Вот с этими ребятами, — и она покачала тоненькой стопочкой рисунков, — мы займемся натурой. Так говорят, это значит рисовать то, что будет задано, рисовать то, что видим. А с этими, — покачала она другой стопочкой, — мы будем оформлять праздники, выпускать всякие монтажи и прочие такие вещи.

Два раза в неделю после занятий, обеда и небольшого отдыха Людмила вводила ребят в Дом культуры завода. Она первая заметила, что Айгуль из второй группы ребятишек выделяет, хотя и скрывает это, троих, и среди них особенно худенького белобрысого мальчика с внимательными серыми глазами, с удивительным спокойствием и тишиной в лице — Колю Гарпунина.

Тут же рисовала и «натуральная» группа. Им для занятия отвели угол — самый светлый, и рабочие, помогающие Айгуль и предупрежденные и проинструктированные ею, там не появлялись, чтобы не мешать.

Основная работа Айгуль была оформительская: панно и плакаты, но особенно увлеченно она занималась с ребятами рисунком, вкладывала в это дело всю свою душу.

Одной из главных своих задач Надежда Федоровна считала розыск затерявшихся родителей.

Фамилия, оставленная матерью Кольки, помогла Надежде Федоровне отыскать Илью Афанасьевича Гарпунина. Пожалуй, впервые Людмила Михайловна была не согласна с ней:

— Зачем искать Гарпунина? Взрослый человек, все отлично понимающий, не мог так бессовестно бросить своего сына и забыть его! Добра все равно не будет. В детдоме Кольке в тысячу раз лучше, чем, возможно, будет у отца.

Обстоятельства детства Кольки Гарпунина (Людмила Михайловна так и называла его про себя: «Колька», хотя при ребятах звала его и Коля, и Гарпунин, как это принято в детдомах) она изучила по личному делу и по записям, сделанным в «Амбарной книге». Мать его носила фамилию Андреева, с мужем она не была зарегистрирована, а мальчика записала под его

фамилией — Гарпунин, словно предвидя, что сама скоро умрет, и словно надеясь, что когда-нибудь проснется совесть в ее муже. Колька вырастет, и хотя бы эта фамилия будет мосточком для отца и сына.

Надежда Федоровна считала, что, какой бы ни была хорошей и сытой жизнь в детском доме, заменить семью в полном смысле этого слова детдом не может. И попытка не пытка.

— Люда, заруби себе на носу, — ответила на сомнения молодой воспитательницы Надежда Федоровна. — Вспомни Каштанку Чехова. Там собака. А все же — разве Каштанке у клоуна было хуже, чем у столяра, который под пьяную руку и прибить мог, и забывал покормить ее, а ведь ушла она к столяру-то, ушла ведь!

С самим Ильей Афанасьевичем Гарпуниным Надежда Федоровна не списывалась. Разыскав его, она обратилась к начальнику того РСУ, на Севере, где теперь работал Гарпунин. И в письме не призывала к юридическим санкциям. Она просила лишь известить Илью Афанасьевича Гарпунина, что его сын, Коля Гарпунин, после смерти матери Евдокии Андреевой, вот уже восемь лет воспитывается в детском доме.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Весть о том, что к Кольке Гарпунину приехал отец, облетела весь детский дом. Сам Колька не сдержался, шепнул своему другу Вовке Терентьеву, зачем вызывала его к себе заведующая.

— Отец нашелся...

— У-у-у! — протяжно выдохнул Вовка, услышав эти слова. — Вот это подфартило тебе!

Длинного и тощего, хотя он ел больше всех в группе, Вовку прозвали Сатириконом за неистребимую страсть изъясняться как можно остроумнее, но тут и он не нашелся, что добавить, тем более, что Колька, бледный, с лихорадочно блестящими глазами, едва держался на ногах.

Колька же, пройдя коридором, словно слепой, ничего не замечая вокруг себя, столкнулся с Людмилой Михайловной.

— Ну что, — тихо заговорила она, взяв Кольку за плечи, — как гром в ясный день, да? Я, наверное, ви-

новата перед тобой, Коля, должна была давно сказать, что есть у тебя на свете отец, что жив он и здоров...

Колька всхлипнул, вырвался из ее рук и убежал.

В то время в зале находилось много ребят. Они видели это. Людмила Михайловна, прикладывая к глазам носовой платок, пошла к себе.

Остаток этого прекрасного майского дня Колька провел на крыше старого сарая. Отсюда хорошо была видна вся усадьба детского дома. Колька то лежал на почерневших от времени досках, то приспособливался сидеть на остром коньке этой крыши. И ждал.

Здесь, в большом кирпичном доме старинной постройки, с двумя рядами окон, с чердаком под цинковой крышей, где водились голуби, с широким деревянным крыльцом и навесом над ним, Колька прожил восемь лет. Целых восемь!

Справа от кирпичного дома свежо и молодо зеленел весенний сад. К концу лета сад становился густым, тенистым, а сейчас он только-только оживал после затяжной в этом году зимы.

Рядом — площадка с турниками и качелями, с песочницами и грибками для маленьких, а справа, в дальнем дворе, стоял гараж, куда шофер дядя Кеша ставил на ночь одну-единственную грузовую машину.

Недалеко от гаража высился небольшой, с остроконечной крышей каменный погреб и деревянный навес, где хранился уголь для котельной. Зимой по воскресеньям Колька любил ходить в котельную. Мог часами сидеть у приоткрытой дверцы топки, смотреть, как бушует пламя, и слушать рассказы инвалида войны кочегара Осина. А иногда он брал лопату и вместе с Осиным подбрасывал уголек.

Давно уже велись разговоры о переводе детского дома в новое, благоустроенное здание. Оно строилось где-то в южной части города, но строилось долго, и Колька не знал, каким оно еще будет.

В детском доме Людмила Михайловна Соснина появилась сравнительно недавно, всего лишь год назад. Когда ее назначили воспитательницей старшей группы, Колька боялся к ней приблизиться, до того она показалась ему красивой.

Проходили месяцы, но отношение Кольки к Людмиле Михайловне не менялось. Но вот однажды...

У Кольки отчего-то страшно чесалась тогда спина, и он сторонился всех, даже своих ребят. «Вошь, что ли у тебя, Гарпунин, завелась?» — спросил как-то Вовка Терентьев, поглядев, как Колька елозил спиной по дверному косяку.

И Людмила Михайловна заметила Колькино состояние и, заставив снять рубашку и осмотрев его, сказала:

— Так я и думала, у тебя лишай.

— Врачихи нет, она сама болеет, — буркнул Колька.

— Верно, — тут же согласилась молодая воспитательница. Вера Ивановна болеет, и завтра мы обратимся к другому врачу. Но меры надо принять немедленно.

В тот же день Людмила Михайловна смазала тело мальчика салициловым спиртом, и прикосновение ее ласковых нежных рук Колька помнил всегда.

С крыльца сбежало несколько ребят из Колькиной группы гонять мяч. Вовка Терентьев, что-то кричавший, размахивал руками; как всегда, встал в ворота. Смешной и непонятный этот Сатирикон. Кровати их рядом, а друг он Кольке или не друг, не поймешь. Любого готов поднять на смех. Одним только хорош Сатирикон, по его мнению, — он знает много всяких историй. Каждый раз, когда ребята улягутся спать, мелет, мелет... А правда это было или сам сочинил, кто его знает. Но слушать интересно.

Колька увидел, как из дверей первого этажа дома, где были кухня и столовая, вышла в белом халате и таком же белом колпаке старшая повариха тетя Катя. На большом подносе она несла тоже что-то белое. «Ох ты, ведь завтра шесть именинников... — вспомнил Колька. — Праздник».

Колька представил себе, как завтра, в воскресенье, за общий стол соберутся все ребята, а именинники, нарядные, торжественные, будут сидеть на почетном месте, и о каждом из них заведующая детским домом Надежда Федоровна будет говорить речь.

В сумерках пришел Колька в свою группу. Вовкина кровать стояла рядом, их разделяла только тум-

бочка, и, чтобы не выглядывать из-за нее, а видеть друга, Вовка перебросил подушку.

— Слушай, Колька, — вдруг сказал он. — Где твой отец все время был, почему он за тобой раньше не приезжал? Ты его помнишь хоть чуть-чуть?

Колька попытался вспомнить, он даже прикрыл глаза, мысленно обращаясь к своему прошлому, но ничего там не было — ни голоса, ни взгляда, ни облика.

— Нет, — сказал Колька, — не помню, ничего не помню.

— А может, тебя усыновить хотят? Придет вот такой, наврет, что ты его сын, потому что своих детей у них нет, а ты поверишь ему, уши развесишь: «Здра-а-авствуй, папа!»

Колька отозвался сердито:

— Так уж и па-а-апа. А потом, болван ты, Вовка! Какой же смысл взрослого усыновлять? Их вон, в Доме ребенка, видел сколько? Такому головастику что ни скажи, поверит.

— А это для того, чтобы ты меньше хлеба сожрал, чтоб кормить недолго. А человек ты взрослый, вот пятый класс закончишь, еще два года, и сам себе велосипед, незаконченное среднее, кормилец и работник. У него наверняка там подсобное хозяйство, да два человека всего мужиков-то — отец твой да ты...

— Не, Вовка, он бы там нашел себе такого.

— Нашел бы! Там, брат, такое, у нас на уроке говорила географичка, ноль семь человека на квадратный километр. Там так просто не возьмешь, там все друг друга знают, обнаружится.

«А где же он был, действительно, все это время? Людмила говорит: искал. А чего тут искать-то, взял бы да и написал туда, где мы жили с матерью, ему бы ответили, что нет матери, умерла, что пацан один остался, в детдом сдали. А в квартире вашей другие люди живут. А он же не написал...»

Гарпунин пришел на другой день. Стоя у окна в коридоре на втором этаже, Колька видел, как в открытые ворота вошел грузный, с рыжеватыми волосами человек. Он осмотрелся, остановясь, поправил ворот белой рубашки под клетчатым пиджаком, спросил о чем-то ребят, оказавшихся поблизости, потом достал из кармана горсть конфет и стал их угощать.

«Отец... — Колька прижал руки к груди, чуть не задохнувшись. — Мой отец!..»

— Ничего, Коленка, все будет хорошо, — обняла его появившаяся рядом Людмила Михайловна. — Иди, иди к нему.

Колька прошел коридор, а по лестнице вниз ринулся, перескакивая ступени.

— Я так и знал, что это ты, — тихо сказал Гарпунин, заглядывая ему в лицо. — Вот, брат, она, жизнь-то... раскидала нас по сторонам. Меня на север, тебя на юг.

Колька не понял его слов. Он, Колька, никуда не уезжал, вся его жизнь здесь, в этом городе на Амуре. Здесь был когда-то его дом, здесь жила его мать, которую он сейчас почти не помнил. Здесь стоит и детский дом. «Никакая жизнь не разбросала нас, — лихорадочно думал Колька, — это ты меня бросил. Взял и бросил. А теперь вот появился».

Колька сам не знал, что творится с ним сейчас, не мог понять: вместо радости его горло стискивала мука, горько было, горько до слез. Он признавал себя уже взрослым и чувствовал, как со всех сторон — из окон, из-за угла дома на него смотрят его товарищи, ребята, и изо всех сил он боялся только одного — заплакать. Он не ощущал своего тела, у него оставались только одни глаза и эта мучительная горечь.

Гарпунин склонился над ним. Две желтенькие медали, свесившись с лацкана его пиджака, покачивались перед Колькиным лицом, позванивали друг о друга. И вдруг Колька понял, что и тому тоже страшно. Потому так демонстративно он нацепил эти свои малые награды. Глаза Гарпунина перед ним тоже словно подрагивали от страха, хотя все остальное лицо улыбалось.

Первым порывом Кольки было повернуться и бежать, бежать и забиться куда-нибудь в угол, где бы его никто не видел, и самому не видеть никого и никогда больше. Но вдруг от этого рыжеволосого с большими сильными руками человека, от его поношенного, но тщательно отутюженного пиджака, от белой рубашки под ним повеяло чем-то таким давним-давним, почти забытым.

Отец распрямился и вздохнул:

— Айда к начальству, Колька!

Они шли к подъезду рядом и не могли приноро-

виться один к другому, не знали, как это делается.

Наверху, на втором этаже, Надежда Федоровна отошла от окна и, не оборачиваясь, сказала Людмиле: — Сейчас они поднимутся сюда, проводи их ко мне.

На памяти Людмилы Михайловны таких встреч, как эта, что произошла сейчас во дворе, было несколько. Но ни одна из них так не задела ее души. Возвращались после госпиталей изуродованные на фронте мужчины за своими детьми, находились матери, потерявшие в суматохе войны детей. Мало ли что было?.. У каждого — не только в ее группе — детдомовца свои, неповторимые, обстоятельства. Но те встречи детдомовцев с отыскавшимися родителями, хоть и не похожи одна на другую, все-таки имели что-то общее. Они были радостными, и, пожалуй, это самое главное. Как ни трудно было потом расставаться с девочкой или мальчиком, Людмила Михайловна понимала, что это их счастье.

У Гарпуниных — старшего и младшего — было совсем иное. Ни война, ни беда, ни что-то такое, что выше человеческих сил, разлучило отца и сына. Здесь отец сам повернулся и ушел с порога. Ушел, и все. Людмила Михайловна представила себе, как это было. Ей виделся маленький Колька (в его личном деле, в конвертике хранились фотографии). Не то соседи, не то работники детского дома, когда собирали документы после смерти матери, взяли и эти фотографии — фотографии Колькиного детства. Там Колька маленький, с какой-то нелепой куклой лежал на столе перед объективом фотоаппарата. Гарпунин уходил десять лет назад из своего дома, так думала она, должно быть, утром. Крошечный мальчик стоял в своей кроватке, держась за перильца, и смотрел на мир непонимающими глазами. А отец, не взглянув даже на него, повернулся и ушел. И больше не видел его ни разу. До этой вот самой минуты.

Когда Гарпунины появились на втором этаже, Людмила Михайловна чувствовала себя так, словно перед этим долго, тяжело болела.

Илья Афанасьевич Гарпунин сидел в кабинете Надежды Федоровны, не зная, куда деть свои огромные руки. Нелепо светились желтыми солнцами две медали: «За победу над Японией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». По переписке Надеж-

да Федоровна знала: Гарпунин не воевал. Его призывали восемнадцатилетним, сразу после ФЗУ. Он служил в Благовещенске в хозвзводе запасного полка. Личный состав полка менялся, а хозвзвод так и оставался на одном месте.

Рядом с отцом сидел, не поднимая глаз, задумчивый Колька.

Надежда Федоровна сказала:

— Поздравляю вас, Илья Афанасьевич, и тебя, Коля... Надеюсь, вы оба будете счастливы и больше не потеряете друг друга...

Гарпунин-отец приподнялся и протянул ей руку:

— Благодарю вас, товарищ директор. Спасибо за все, что вы сделали для моего сына.

— Коля, — сказала Надежда Федоровна, — ты выйди пока, сходи за своими вещами, а мы поговорим.

Так же, не глядя ни на кого, Колька поднялся и вышел.

— Садитесь, товарищ Гарпунин, садитесь, — сказала Надежда Федоровна.

Гарпунин остался перед двумя сидевшими женщинами. Теперь никто не мешал им сказать все, что они о нем думают.

— Послушайте, Илья Афанасьевич, — начала Надежда Федоровна. — Вашему сыну я не сказала, что детдом разыскивал вас. Мы сказали Коле, что вы сами нашли его и что не появлялись так долго потому, что не знали, где он. Запомните это, я очень прошу вас. И, как бы ни сложились ваши взаимоотношения в дальнейшем, смотрите, не проговоритесь сыну...

Гарпунин молчал.

— Я старше вас, Гарпунин, — продолжала тем временем Надежда Федоровна. — Я работаю с детьми всю свою сознательную жизнь, можно сказать, с юности. Сначала воспитательницей в детском саду, затем учительствовала. Теперь — детдом. Я насмотрелась на людские судьбы. Запомните одно: для вас, именно для вас, в этом событии больше счастья, чем для вашего сына. Я убеждена, потому что видела такое не однажды. Раскаянье и горе для людей, поступивших так вот, как вы, в конце их жизни неизмеримы. И нет такой мерки, нет таких слов в русском языке, которыми можно было бы обозначить или хотя бы приблизительно выразить то, что вы натворили прежде.

Гарпунин сделал движение, точно хотел возразить

или сказать что-то, но Надежда Федоровна остановила его:

— Не надо ничего объяснять, оправдания здесь не может быть. Вы еще будете благодарить детский дом за то, что он дал вам возможность почувствовать себя человеком. Вы — сильный, умный мужчина.

Что Гарпунин умен, Надежда Федоровна не думала. Было видно, с каким трудом рождается у него мысль, словно откуда-то издалека пробивается слабый свет в его мрачном напряженном лице.

Людмила Михайловна слушала Надежду Федоровну, и ей казалось, что та говорит не о том, о чем бы нужно было говорить сейчас. Они отдают своего Колю, уже давно своего Колю, в руки какого-то непонятного, странного человека. Куда он повезет его? Где они будут жить? На чем Коля будет спать, что есть? Как отнесется к приезду Коли жена Гарпунина?

Ее волнение не ускользнуло от внимания Надежды Федоровны, и она, коротко глянув на воспитательницу, сказала:

— А теперь, Илья Афанасьевич, вы должны поделиться с нами своими планами: как вы будете жить и где. Я знаю о ваших обстоятельствах до вашего отлета из Норильска.

— Я в отпуске, — отрывисто и хрипло сказал Гарпунин. — У меня большой отпуск... Северный... — Он откашлялся. — Здесь пока будем с Колькой. Кореш у меня здесь живет, Усольцев. Он сейчас в отъезде, а ключи мне оставил.

— Хорошо, — сказала Надежда Федоровна. — Давайте адрес. А пожить вам здесь придется, может быть, с недельку, две. Для оформления документов. Ведь так, под честное слово, детей из детдомов не отдают. — С лица Надежды Федоровны сошли последние следы ее холодноватой улыбки.

Отца и сына Гарпуниных Надежда Федоровна и Людмила Михайловна провожали до самых ворот. Во дворе к ним присоединилась группа ребят, повариха тетька Катя.

Такси уже ждало у ворот. Надежда Федоровна, тетя Катя поочередно обняли Кольку. А когда дошла очередь до Людмилы Михайловны, она не смогла этого сделать. Она как-то неожиданно для всех, схватив Кольку за плечи, всхлипнула и, оттолкнув его от себя, пошла прочь. Из Колькиных глаз брызнули слезы.

— Ну, что ж ты? — сказал Гарпунин, наклонясь над Колькой. — Едем, чтоб знал, на квартиру к Усольцеву. Это кореш мой, вместе на Севере проживали. Усольцев сейчас приехал ко мне в район, ну а мне сюда приспичило ехать. Квартира однокомнатная — ничего. Поживем с тобой, пока бумаги сделают. И домой ахнем, к тете Наталье. Она ждет нас. А деньги — деньги вот. Отпускные получил. Северные. — И Гарпунин похлопал себя по груди.

Квартира Усольцева не понравилась Кольке. Все разбросано: обувь, одежда, посуда, много бутылок из-под вина. Посреди комнаты стояли покрытый истершейся клеенкой стол и два стареньких стула... Засохшие цветы на окне, этажерка с несколькими техническими справочниками, две кровати с давно не стиранными наволочками и простынями.

— Ну, ты, значит, эту койку займешь, а я — эту, — распорядился Гарпунин. — А сейчас немного закусим, не возражаешь? — и с неожиданной суетливостью он стал вынимать из лежащего на полу чемодана и класть на стол банки с консервами, буханку хлеба, колбасу, пачку соли, чай. Но Гарпунин счел это недостаточным и послал Кольку в магазин.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Впервые в своей одиннадцатилетней жизни Колька шел за солидными покупками. Если раньше судьба и заносила его в магазины, то за булочкой или купить мороженое, посмотреть их витрины.

Но вот сейчас ожили в нем его прежние наблюдения. Оказывается, ему и тогда, — Колька сейчас уже думал о той своей прошлой жизни, которая кончилась, серьезным словом «тогда», — оказывается, и тогда ему много чего хотелось, а он не знал об этом, а теперь даже слюнки потекли. И, оказывается, многого из того, что продавалось в магазинах, Колька в своей жизни еще не пробовал.

У прилавка толпилась небольшая очередь. Колька встал последним и только тогда стал думать, что надо купить. Гарпунин-старший не сказал, что надо. Он, наверное, думал, что Колька сам знает, а Колька совсем

этого не знал. И впервые свалилась на него этакая ответственность — чужие деньги в руке, он не знал: можно ли расходовать все или только часть. Его очередь уже подошла, а он мысленно все считал рубли и копейки, потому что боялся, что Гарпунин подумает о нем: вот, мол, дорвался до чужого.

— Что тебе, мальчик? — нетерпеливо спросила продавец.

— Вот это, вот это, — растерянно начал тыкать пальцем Колька.

Очередь терпеливо ждала, хотя за то время, пока Колька приобрел рожок ливерной колбасы, банку рыбных консервов и пачку масла, продавец успела бы отпустить несколько покупателей.

Мокрый от пота, взволнованный, Колька сложил все вместе в какой-то невообразимый пакет из старой бумаги, который кто-то оставил на подоконнике, и отправился домой.

И вдруг смертельная тоска охватила его по детдому: по Людмиле Михайловне, по Володьке, по всему. Но он понимал, что, даже если он вернется сейчас в детдом, по-прежнему хорошо ему уже не будет. И не то, что его могут вернуть к отцу, а потому, что он сам уже не сможет жить спокойно.

Он медленно брел по тротуару, думая о том, что помнит лицо отца, но помнит не так, как Людмилу Михайловну, Вовку, а как-то иначе.

В подъезде он напугался, что не найдет квартиры. Он поднимался по лестнице, внимательно оглядывал одинаковые двери и на третьем этаже справа увидел на косяке двери царапину, которая попала ему на глаза, когда они входили сюда с Гарпуниным. Он дотянулся до кнопки звонка, позвонил и с бьющимся сердцем стоял и ждал. В глубине квартиры раздались тяжелые шаги, и ему показалось, что такие, шаги он слышал уже давным-давно, не помнил когда, но слышал.

Отец открыл дверь, и какую-то долю минуты на Кольку глядели с тяжелого лица ничего не помнящие глаза. В Колькином сознании молниеносно возникло: «Он не узнал меня». И Колька сказал:

— Это я!

Гарпунин улыбнулся:

— А-а, это ты?.. — и отступил в глубь коридора. — Где ты был?

— Я? Как где?

— Ах да, ты прости, сынок, я забыл... — Голос у Гарпунина звучал глухо, по-чужому. — Прости, сынок, заспал я. Дорога была длинная.

И когда он пошел вперед и Колька двинулся за ним, он почуял тяжелый запах перегара: Гарпунин был пьян.

Колька осторожно положил на кухонный стол покупки и, не зная куда себя деть, остался стоять здесь, опустив руки и глядя в пол.

— Ты это, ты есть, наверное, хочешь? — спросил Гарпунин.

— Нет, я не хочу есть, — тихо ответил Колька.

— Тогда делать надо что-нибудь.

— А что надо делать? — спросил Колька.

— Не знаю, — ответил Гарпунин. — Что-нибудь. Что вы делаете в это время в детдоме?

Колька пожал плечами:

— Зимой — в школе, а сейчас занимались бы в кружках.

— Ты поёшь? — спросил Гарпунин.

— Мы бы рисовали, — не отвечая на вопрос Гарпунина, сказал Колька. — Мы бы пошли сейчас в Дом культуры завода и рисовали бы у тети Айгуль.

И снова сознание вернулось к Гарпунину. Он внимательно посмотрел на Кольку и спросил:

— Какая Айгуль, что за тетя?

— Это художница. Она глухая.

— А-а... — и снова Гарпунин вспоминал что-то такое, чего не знал Колька и не мог знать, но он сказал это свое «а-а» так зло, точно знал Айгуль. — А-а, — повторил Гарпунин. — Глухонемая, да еще и художница. Та-а-ак... — Он усмехнулся, ушел в глубину комнаты и вернулся оттуда через минуту, держа в одной руке два карандаша, а в другой — толстую общую тетрадь. — А мы и без нее будем рисовать. Рисуй.

— Она не глухонемая, она просто глухая, — объяснил Колька.

— Один хрен, — сказал Гарпунин. — Она поговорит еще немного и замолчит, онемееет совсем, потому что слов своих не слышит. Да и знает-то, наверное: «дай» да «на».

Колька молча взял тетрадку и карандаш.

День этот тянулся бесконечно долго. Гарпунин остаток его провел на кухне. И Колька, однажды заглянув туда, увидел, что он спит, сидя за столом, по-

ложив голову на свои руки. Он так и остался в пиджаке и белой рубашке, и от этого создавалось впечатление, что, как только он обретет себя, он уйдет отсюда.

Вернувшись в комнату, Колька лег на кровать и не помнил, как заснул. Проснулся как-то неожиданно, с тревогой и недоверием глядя на то, как сочится в окно утренний свет. Гарпунин, лежавший теперь на койке напротив, привстал и чиркнул спичкой, закуривая папиросу.

— Проснулся, сынок, значит? — спросил он.

Кольке хотелось сказать, зачем спрашивать, когда и так видно, но промолчал, и уже потом, когда одевались, ходили по очереди в ванную умываться, Колька нехотя отвечал на несложные и какие-то неожиданные для него вопросы. Гарпунин будто не знал, где они сейчас, как оказались вместе и хорошо это или плохо.

К вечеру они ушли вместе в город, в магазин, потому что не то купил Колька, а когда подошли к вино-водочному отделу, он понял, почему пошел Гарпунин с ним. Кольке бы ни за что не продали водки из-за его возраста. Гарпунин купил две бутылки, рассовал их по карманам, стараясь не глядеть на Кольку, а потом заговорил нарочито оживленно.

На второй день, когда Гарпунин отправился куда-то по своим делам, Колька навел порядок в квартире, дочиста вымыл облупившиеся крашеные полы, выбросил в мусорный ящик засохший цветок, а уцелевший зеленый росточек от него оставил. Нагреб в газоне возле дома земли и горшок с ростком снова поставил на окно.

Поколебался и занялся стиркой: снял с постелей простыни, наволочки, нашел несколько полотенец, сложил все это в ванну и замочил теплой водой. По правилам, как их учили в детском доме, вода должна быть мыльной, но стирального порошка у Усольцева не оказалось. Тогда Колька, взяв нож, построгал от куска мыла стружек, бросил их в ванну, и долго булькал руками в воде, пока она не сделалась мыльной. Но стирка явно затягивалась. Белье надо было не только выстирать, но и высушить, выгладить, и все это успеть сделать до вечера. А как тут успеешь...

В раздумье он сел к окну, не зная, как оправдаться перед отцом. Да и на чем они будут спать, на этих замызганных усольцевских матрацах и подушках? Коль-

ка, чтобы не смотреть на них, прикрыл их одеялом. И только-только закончил Колька развешивать белье на веревках в кухне и в прихожей, как явился отец.

Был он навеселе, но настроен, как выразился, музыкально. И в доказательство показал Кольке принесенную с собою гитару.

— Во! Гитара! С ней веселей будет! Слушай! — он рванул по струнам. — Какие песенки мы напевали в былые годы! — и запел:

Катя-Катюша — купеческая дочь,
С кем ты прогуляла последнюю ночь?

Белье к вечеру, конечно, не высохло, да и какая сушка белья дома? К тому же и утюга в квартире не оказалось, и Колька, придавленный мрачными мыслями, просидел на кухне до самой полуночи.

А отец поворчал и заснул.

Ложился Колька спать в глухую полночь, растворив настежь окно. На улицах уже умолк шум.

Вплоть до самой субботы Илья Афанасьевич вел себя так, словно носил на душе грех. С лица его не сходила виноватая улыбка.

— Ну что, выпил тогда малость. Бывает, — сказал он Кольке, как бы оправдываясь. — В некотором роде — привычка старого строителя... Ты не серчай на меня, Николай, относись ко всему по-взрослому. Характер человека это, брат, штука сложная, непостижимая.

Отправляясь по утрам куда-то, Гарпунин не забывал оставлять Кольке деньги на «жизнь» — так говорил он. А возвратившись к вечеру домой, не мог нахвалиться, какой вкусный обед приготовил ему сын.

— Борщ да еще жареная картошка! — восторгался он. — Ну, кто так научил тебя кашеварить?

В ответ Колька смущенно улыбался и объяснял отцу, что в детском доме всему учили. И стирать, и шить, и обеды готовить.

— Да, хорошо стали детей воспитывать, — думая о чем-то своем, отвечал Илья Афанасьевич. — Дети — наше будущее... — Садился на свою жойку и, отвалившись к стене, брал в руки гитару. Сначала бренчал что-то непонятное, потом появлялись какие-то мелодии, и он начинал петь:



выводил он своим с хрипотцой голосом и, если получалось плохо, отбросив гитару, принимался объяснять: — Э-эх, Колька, знал бы ты, какой я имел голос когда-то! А вот не уберегся, застудился на стройке. Да и как не застудиться? Работа у маляров-штукатуров, сам знаешь, сквозняки кругом.

Колька радовался, что отец хоть становился таким словоохотливым, да и на гитаре мог играть. И все же ему хотелось, чтобы поскорей наступил тот день, когда они поедут в город на Севере.

Отыскав на усольцевской этажерке под книгами затертую, сложенную кое-как географическую карту, он нашел тот город Норильск, где проживал отец со своей женой Натальей Филипповной. И хотя это было далеко отсюда, и зимой, наверное, холода стояли там лютые, и ничего о своем новом житье-бытье Колька не знал, — все равно его тянуло в дорогу. Уныло и противно ему было в усольцевской квартире.

— Сходить в кино, что ли? — предложил однажды Гарпунин. — Что там идет? — спросил он Кольку.

Колька не ответил, а Гарпунин и не ждал его ответа. Было совершенно ясно, мучительно ясно им обоим, что им тяжело друг с другом, что ничего их не связывает, и что делать дальше, никто из них не знает.

Дорога к кинотеатру шла поблизости от детского дома. Гарпунин не помнил и не думал об этом. Идти пришлось им мимо ворот детского дома, а потом, свернув направо, вдоль огромного решетчатого двора детдомовского сада. Всю эту дорогу Колька почти бежал. Он боялся, что ребята увидят его и поймут все. А Кольке очень не хотелось, чтобы в детдоме кто-нибудь знал, как ему нелегко.

Гарпунин в самом деле не знал, что делать с этим мальчишкой. У него никак не поворачивался язык назвать его сыном. И чем дальше шло время, тем все большее бессилие охватывало его при виде Кольки, который все время ждал от него чего-то.

Надо было увозить мальчишку и уезжать самому, и чем быстрее, тем лучше. Он уже трижды наведывался в детдом, но документы еще не были готовы. Но и впереди там, на Севере, ему казалось все беспросветным. Ни раскаяния у него за прошлое не было, ни сожаления. Щемило душу что-то, а что — он не знал, и

ощущение бессилия и одиночества не проходило. «Бабу бы, что ли, найти какую, — подумал однажды Гарпунин. — Какую-нибудь хоть». Но и такое было невозможно: куда он ее приведет, парень же здесь.

Колька не называл Гарпунина ни разу ни папой, ни отцом, ни батей. Он вообще не знал, как называть его — на «ты» или на «вы». Но по вечерам в те дни, когда детдомовские ребята рисовали в заводском Доме культуры, Колька не находил себе места. Не мог он пойти туда такой вот разрушенный, не собранный, со своей теперешней жизнью. И вдруг однажды понял, что без этого он не может.

— Сегодня среда, — сказал он Гарпунину.

— Ну и что, я знаю, — ответил тот.

— Нет, — упрямо повторил Колька, — сегодня среда, у нас занятия.

— У этой глухонемой? — усмеялся Гарпунин.

— Не надо так, — сказал Колька.

— Иди, если хочешь. Только допоздна не задерживайся.

Колька спускался по лестнице и тихо плакал. Сам не знал, отчего плакал. И на улице он еще колебался — идти ему туда или нет, но вдруг желание увидеть своих, увидеть Айгуль властно овладело им, и он побежал в Дом культуры.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Время, в которое у Высотина родился замысел картины «Выздоровление», совпало с похожими событиями в природе. Май выдался странный. Вначале зацвели сады и лишь потом распустились листья на тополях и на других деревьях в городе. И это, необыкновенное раннее цветение, беззащитное и стойкое, помогло Высотину. Дерево свое он писал почти что с натуры и очень много думал по поводу того, что свершилось вокруг. Так получилось оттого, что очень снежной была зима, снежной и почти безветренной. Высотин помнил эту зиму — тихую, глубокую, как будто она происходила, зима эта, не в морозном обожженном краю страны — на самом ее востоке, а где-то в глубине России.

Потом снега перестали идти, и вторую половину февраля и весь март стояла солнечная и морозная по-

года. Мастерская была залита ярким солнечным светом, ярким не по-зимнему. Высотин подходил к окнам и подолгу смотрел: ему не верилось, что там, на улице, на бугристом льду реки, на увалах, на проспектах города царит тридцатиградусный мороз.

Ветра появились позднее, они рванули в начале апреля и работали весь месяц тоже со среднерусским постоянством.

Город выстроился так, что его основные бульвары и улицы шли перпендикулярно к реке. А от реки дули ветры, притормаживая появление листвы на деревьях: сады же ютились за стенами домов, в укромных местах, где было теплее, потому-то они и зацвели рано. Только еще трава, мелкая зеленая трава тоже была к тому времени, когда зацвели плодовые деревья.

И необычность зимы, и необычный какой-то, непредвиденный поворот природы весной омолодил Высотина.

Над картиной Высотин начал работать в тот же день, как возник замысел. Почти без набросков — такое с ним было впервые. Он всегда долго искал линию горизонта. А в этой картине горизонт нашелся сразу. И чем дальше Высотин работал, тем больше ощущал он себя так, словно напоенная солнцем молодая вода заполняет все его существо.

Жена его, Маша, не могла оторвать его от работы, она знала за ним это качество, и она знала еще, что в такие минуты она для своего Высотина словно бы растворяется в его работе. Ее когда-то угнетало это, в далекой молодости она поначалу горевала, думая, что не нужна ему. Но по мере того, как она познавала его, она убедилась: это совсем иное, просто ему не надо мешать.

Это было то же дерево, дерево, которое цвело. Но ни по цвету, ни по форме нельзя было бы определить его породу. Таким оно могло быть только в восприятии того, кто очень долго болел, долго прорывался сквозь тьму беспамятства и боли и пробился, и вдруг увидел свет и в первом мгновении этого света — цветущее дерево.

В сумерках, вымыв кисти, Высотин садился перед своим большим холстом и подолгу смотрел на него, и ему казалось, что дерево это — главный герой его картины — на самом деле похоже на Айгуль. Он торопился, сам не зная, почему он так торопится, хотя

и не заглядывая вперед: и раннее пробуждение его, с привычной болью и тяжестью в коленях и пояснице, вдруг изменилось, он вставал, как юноша, — собранный, четкий, словно всю ночь готовился к тому моменту, когда можно встать к холсту. Он торопился, думая об Айгуль и представляя ее себе.

Высотин был физически крепким мужиком. Крестьянская порода: в роду его все мужики трудились на земле и жен выбирали себе крепких, под стать себе, крестьянских, да и сам Высотин все свое отрочество работал в поле, и теперь ему хватило природного запаса силы в десять суток написать это сумасшедшее полотно.

Десять дней он работал над полотном от рассвета до той поры, пока не появлялась синева сумерек, изменяющая краски. И в один прекрасный час — и это тоже произошло утром — он поднялся к себе в мастерскую, и, когда вошел и стал на привычное место и оглядел холст, он понял: картина окончена.

Целый день он провел в своей мастерской, почти ничего не делая. Благостная тишина разливалась по всему его состарившемуся, но могучему существу. Мыл кисти, чистил палитру, не спеша пил чай, который сам кипятил себе и заваривал, как умел только он — с сахаром и с солью, с различными секретами.

Разбирал ящики с красками, столы, не думая ни о живописи, ни о делах. Это состояние он называл про себя «просто быть». Быть и все. Он был. Он привыкал к своему собственному произведению.

Потом он постучал по трубе отопления — здесь шел стояк, его квартира находилась двумя этажами ниже, но строго под ним, — и Мария знала, что она должна прийти.

Высотин встретил ее на пороге, он глядел на нее не мигая, каким-то полупогруженным внутрь взглядом, словно не видя ее, и лицо его, осунувшееся, тяжелое, было неподвижным.

Жена напугалась. Таким она видела его однажды за несколько минут до того, как у него приостановилось сердце, — Высотин перенес инфаркт. Она и тогда встревожилась, но, считая своего мужа еще крепким мужчиной, не могла предвидеть, чем все это закончится. Встревожилась, и все. Он сказал ей тогда что-то такое простое, обыденное, и она успокоилась, думая, что он просто устал. Она сама узнала потом, что у

Высотина накануне перед приступом был тяжелый разговор на художественном совете по поводу новых его картин. Лихие ребята, с удалью писавшие новостройки, похожие одна на другую, вдребезги «разнесли» его. И он поверил им, и в чем-то они действительно были правы. Пусть невозможно было отличить работу одного из них от работ другого, пусть они говорили что-то о бесплодности его собственных поисков, о том, что всю жизнь свою он провел на окраине жизни, вдали от исторических событий, — не это сломило его. Их работы не могли ему нравиться и не могли служить ему доказательством его собственной неправоты. Но он вдруг подумал, что правда в их словах есть. Никто из критиковавших его не знал и не понимал этой правды: он просто не умел говорить о жизни иными красками и сюжетами, чем эти. Они не понимали, что он мучается от этого.

— Вот, Маша, — сказал Высотин, беря ее тяжелой массивной рукой за острое худенькое плечо. — Вот, Маша, что я тебе покажу. — И с этими словами, не убирая своей руки, он повел ее в глубину мастерской к тому месту, откуда сам разглядывал свои работы.

Холст был накрыт. Высотин поставил жену так, словно собирался ее фотографировать, а сам пошел к мольберту, оглянувшись по дороге, не изменила ли она позу, стоит ли она точно там, где он ее поставил, и встретился с ее тревожным взглядом:

— Да не на меня, не на меня, сюда смотри! — и с этими словами он откинул полотняное покрывало, закрывающее холст.

Ничего подобного никогда в его работах Мария не видела, хотя привыкла к его манере, к вечным поискам, привыкла к тому, что за каждым его пейзажем стояли какие-то события, привыкла разглядывать то, что произошло с ним среди людей, когда видела каждый новый его холст, и удивлялась, что те, кому по долгу профессии положено это понимать, не понимали. А теперь она и сама была удивлена.

Последние холсты Высотина несли на себе отпечаток какой-то элегичности, какого-то хоть и величавого, но спокойного удовлетворения жизнью, в них звучало не переживаемое, а пережитое. А это все — это дерево, легкий дымчатый подлесок, эта голубоватая трава у подножия дерева и дальше, и сама нервная, напряженная фигура дерева и ломкость цвета, жили

сейчас в твоём присутствии. И казалось: если ещё постоишь, то можешь дожидаться, когда полностью взойдет на холсте солнце.

Так, наверное, стоит перед художником обнаженная юная женщина, ничего не скрывающая от верных глаз и не демонстрирующая ничего, застенчивая и смелая в одно и то же время.

— Помнишь, ко мне приходили двое — муж и жена, я тебя не познакомил, потому что тебя не было дома, — сказал Высотин. — Но я тебе рассказал о них. Эта молодая женщина — талантливый художник, и она глухая. Но глухота ее, Маша, обратилась в какой-то странный слух... Она слышит всем своим существом, понимаешь? Даже мороз по коже.

— И это дерево твоё — оно тоже слышит? — спросила жена.

— Да, да, да! Этого я и хотел. Это называется «Выздоровление». Как жаль, что не принято посвящать картину кому-то. Взять да и написать там, — Высотин показал толстым коротким пальцем на правый верхний угол картины, где пробивалось охристое солнце. — Как в книге: «Посвящается», и имя.

— Прости меня, Вася, — сказала Мария. — Ты написал такую необычную вещь.

— Ты действительно считаешь так?

— Да, — тихо сказала она. — Я так считаю.

— Мы вот что с тобой сделаем, — сказал Высотин. — Мы сейчас пойдем с тобой гулять, а потом, когда я успокоюсь, мы поедем к этим людям и позовем их к нам...

Каким бы ни был старым мужчиной, в его отношении к женщине, даже очень юной, всегда остается мужское. Оно похоже — в случае с Высотиным — на отцовство. Его, когда он думал об Айгуль, не оставляло ощущение того, что сам он создал ее такой. И зависть, и поклонение, и забота — все это было в его душе.

Людмила Михайловна привела ребят на очередное занятие в Дом культуры. Собственно, ей можно было уже и не ходить; ребята были достаточно взрослыми — по десять-одиннадцать лет, и в Доме культуры они уже бывали не раз, но ее самое тянуло побывать там.

Ребята стайками шли впереди нее по тротуару. Для них почти ничего не изменилось с уходом Кольки, а для

Людмилы Михайловны очень не хватало его стриженного затылка. Если бы Колька встретился с отцом, как встречались не раз детдомовцы с их отыскавшимися родителями, Людмиле Михайловне было бы, наверное, легко. Но у нее из памяти не выходил образ Кольки, когда они стояли рядом — отец и сын — и оставались каждый сам по себе. Гарпунина-старшего она судила беспощадно: она представляла себя на месте матери Кольки, и в ее голове никак не укладывалось, как это можно было отцу — взять и уйти...

И Кольку она помнила, помнила все время, помнила с того часа, когда он ушел с Гарпуниным.

Айгуль радостно встретила их.

— Нас сегодня меньше на одного, — сказала Людмила Михайловна с грустью. — Коли нет. За ним приехал отец.

Сначала Айгуль отозвалась на эти слова улыбкой: «Хорошо, что люди нашли друг друга!» Потом вспомнила что-то свое и нахмурилась.

— Гар-пу-нин, — выговорила она по слогам и повторила еще раз: — Гар-пу-нин. Боже мой, какая я дура! Ведь он же его отец!

— Кто?

— Гарпунин.

— Ну да, отец.

— Нет, ты не понимаешь, я хорошо знаю этого человека с юности. Я хорошо знала этого человека.

— Ты его знаешь? — удивленно спросила воспитательница.

— Сейчас дам задание ребятам и все расскажу...

Людмила Михайловна была потрясена рассказом Айгуль. Теперь она полностью была уверена в том, что они совершили ошибку, отдав Гарпунину Кольку.

Все в этот вечер получалось как-то не так. Занятия проходили неинтересно. Людмила не чаяла, когда наступит момент и можно будет пойти в детский дом. Надежда Федоровна, наверное, еще будет там. Домой Людмила вела ребят почти бегом.

Надежда Федоровна была у себя в кабинете.

— Расскажи все по порядку, — выслушав путаный рассказ Люды, попросила Надежда Федоровна, помолчала некоторое время, глядя в стол перед собой. А потом сказала: — Успокойся. Немедленно успокойся, перестань закатывать мне истерики. Пойми ты, голова твоя садовая, это же великое счастье — иметь отца!..

И главное: мы не имеем права лишать ребенка его родителей. Запомни это! Во-вторых, ты что думаешь: отпустим и с глаз долой? Мы еще посмотрим, как они жить будут. Ты думаешь, родителям в каждом таком случае хорошо с детьми? Ведь они — дети и родители — ничего не знали друг о друге: кто что любит, кто к чему привык. Обязательно есть такой период адаптации, привыкания, что ли, и никак нельзя сказать, что будет дальше, надо дать им время. Они мужчины оба. А здесь у нас бабье царство. Мальчишке нужен отец обязательно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Колька пропустил только два занятия в Доме культуры. Но, когда он появился, его какая-то взрослая тишина, ясно обозначившаяся замкнутость, совсем настрожили и расстроили Людмилу Михайловну и Айгуль. Им даже не понадобилось разговаривать друг с другом. И это передалось ребятам. После того, как истекли те два часа, что были отведены по плану работы изобразительного кружка, Людмила Михайловна сказала ему:

— Коля, пойдем проводим ребят, а потом мы с Айгуль проводим тебя. Ты не возражаешь?

Колька удивленно поглядел на Людмилу Михайловну: он понял, что это неспроста.

Людмила и Айгуль шли сзади ребят, шли молча, почти всю дорогу до детдома. И снова вопрос: сейчас они пойдут к Надежде Федоровне, а где будет Коля, чем ему заняться? Сидеть в вестибюле?

— Вот что, — решила Людмила Михайловна. — Ты, Коля, сегодня наш гость, мы тебя приглашаем на ужин. У нас с тетей Айгуль есть еще небольшое здесь дело, и мы к вам спустимся немного погодя.

Едва ребята остались одни, Кольку обступили со всех сторон:

— Ну как, Гарпунин, дома лучше, чем здесь?

Колька пожал плечами.

— Как батя, когда поедете? Вы здесь будете жить? А заниматься в школе ты будешь в той же? — забрасывали его вопросами.

Колька молчал.

— Да отстаньте вы от него, чего вы привязались?

Это сказал Вовка Терентьев. Его группа недавно вернулась с завода. Они уже поужинали. Вовка вытащил Кольку из толпы, повел к себе в спальню, но и его подмывало узнать, как живется сейчас Кольке. Но не просто как живет, что ест, как спит, чем занимается... Его интересовало другое: как Кольке с отцом, как получается у них? Вовка всю свою жизнь — все двенадцать лет — провел здесь, в детском доме, а если и бывал в семьях, то у чужих: у Надежды Федоровны, ходил в гости к городским ребятам — товарищам по школе. Но там было все нормально. Никаких вопросов не возникало. Было любопытно, и все. А тут другое. Он чувствовал: с Колькой что-то происходит. И не решился спросить, что с ним. Вовка стал рассказывать о заводе. Самых старших детдомовцев — двенадцать человек — определили в ученики слесарей на заводе. И встречали их в первый раз там, как героев, с оркестром и лозунгом «Привет рабочей смене», с речью.

А потом повели по цехам. И даже при них испытывали только что собранный дизель.

В тот день им показали весь завод — от проходной до склада со старой, отслужившей свое техникой. И, хотя в каждом цехе работали над чем-то своим, у Вовки сложилось впечатление, словно при нем вершилось рождение дизеля. А потом их покормили в рабочей столовой на территории завода и только под самый конец показали что-то вроде зала, чуть, может быть, побольше школьного класса. В три ряда там стояли верстаки — как лавки на базаре: такие же длинные и обитые цинком, и на каждом рабочем месте — тиски и набор слесарного инструмента.

У торцевой стены этого помещения стояла обыкновенная школьная доска, только на каких-то ножках. Она поворачивалась, эта доска. На одной стороне пишется, на другой готовится задание. А на стене, той, что против окон, стояли стеллажи, а на них — различные поделки: тиски, тисочки, пассатижи, ключи, краники, на отдельном стенде — форсунки, как объявил сопровождавший их человек с безжизненно висевшей рукой в кожаной перчатке, очень сложные в изготовлении механизмы, они подают в цилиндры дизеля горючее. Делая форсунку, нельзя ошибиться даже на сотую миллиметра. Это была выставка работ учеников школы ФЗУ; они проходили практику на заводе. И начинали эти ребята вот тут же, в этом учебном цехе.

Сегодня Вовка Терентьев — его назначили бригадиром, группа ребят из детдома называлась теперь бригадой — выполнил задание третьей степени сложности: прирабатывал сопряжения. Ну а если честно — старался напильником выровнять грани стального брусочка.

— Понимаешь, Колька! — с энтузиазмом рассказывал Вовка. — Понимаешь, оказывается, не так просто напильником сделать ровное и плоское, совершенно плоское. Приемы такие есть.

Колька слушал и молчал.

— А что, — продолжал Вовка, — ну, не буду слесарем, а в жизни всегда пригодится. — И тут он спохватился: — Слушай, Колька, ты же, наверное, жрать хочешь, пошли, пока столовку не закрыли.

Так он ничего и не спросил у Кольки.

— Вот что я вам доложу, дорогие мои, — сказала Надежда Федоровна, выслушав нетерпеливый рассказ Людмилы Михайловны. — Мы, конечно, сходим к Гарпунину, и, наверное, надо было сделать это раньше. Но вот ты, Люда, говоришь, что мы совершили ошибку, отпустив Колю сразу с отцом, не зная, как следует, кто он, какой он, может ли заниматься воспитанием своего сына. В чем-то ты, конечно, права. Все это нам надо было знать получше, чем мы знаем сейчас. Но все же, Люда, я с тобой не во всем согласна.

— А в чем вы можете не согласиться? Ну, в чем? На Кольке лица нет!

— Скажи, Люда, что самое трудное для человека в жизни, как ты считаешь? — спросила Надежда Федоровна.

— Господи, Надежда Федоровна, ну что за вопрос?

— Я тебя спрашиваю всерьез. Вот смотри, в группе, в которой был Коля, в твоей группе, тридцать человек. Эти тридцать собрал в группу не Коля. То есть, я хочу сказать, что он не собирал себе друзей. — Надежда Федоровна заговорила, подбирая каждое слово: — Мы, мы организовали ему друзей, мы назначили их ему, мы его будили по утрам, мы решали, что ему делать днем, расписали ему в жизни все, что и когда! В нормальной жизни мальчишки вступают в сложные взаимоотношения: жизнь семьи, все проблемы ее, волнения, и хотят они или не хотят, они становятся участниками этой жизни, и жизнь эта требует от них откровенности, ак-

тивности, творчества, если хочешь. Они сами вынуждены исправлять свои ошибки и учиться на них. Детдом — это не очень большое счастье, это скорее поплавок во спасении.

Надежда Федоровна много думала над всем этим. В последний год войны на территории этого края были созданы две воспитательные трудовые колонии для несовершеннолетних. И в наробразовских кругах долго не могли выработать, чем там должны дети заниматься, что значит «трудовая»? Становились на ноги эти колонии трудно. Опыт Макаренко не совсем подошел — иной контингент детей. Тогда Надежду Федоровну — завуча одной из городских школ — послали работать в детский дом. Еще не все помещения были отремонтированы, еще не имел детдом автомобиля, была лошадь Чалка, спокойное мирное животное, которое держали в утепленной сторожке, потому что настоящей конюшни не было, а без лошади детдом бы пропал. Лошадь особым своим решением выделил горисполком. Был конюх дядя Вася, потерявший правую ногу на фронте. Дядя Вася умер в сорок шестом году, как раз в первую годовщину Дня Победы, умер прямо в сторожке... Оказывается, как рассказывали потом врачи, дядя Вася под Сталинградом был ранен крошечным осколком мины в спину. Осколок проник далеко и чуть не перебил ему аорту, и постепенно там образовался аневризм. В День Победы дядя Вася крепко выпил, резко повернулся, и осколок сделал свое дело.

Сейчас, когда Надежда Федоровна разговаривала с Людой, ей вспомнился этот дядя Вася, как он запряг однажды Чалку в телегу и они ездили с группой учителей в эти две трудовые воспитательные колонии.

Особенно ей запомнилась одна — первая, она стояла на развилке двух магистральных дорог. Там когда-то прежде, в первые годы Советской власти, тоже была детская колония. Но потом необходимость в ней отпала, и два огромных деревянных здания, издали похожих на бронемшины, занял сначала аэроклуб, затем сельскохозяйственная школа, а затем — во время войны — госпиталь, и вот теперь там расположилась колония.

В два гектара огромный, огражденный забором двор. Футбольная площадка. Но была и проходная с охраной, не вооруженной, но все же охраной.

Если бы не эта охрана, колонию летом можно было

бы принять за пионерский лагерь, тем более, что рядом протекала горная речушка. Посыпанные гравием и желтым песком дорожки, место для линейки, мачта для поднятия и опускания флага, разрисованные яркими красками плакаты и полторы тысячи одинаково одетых мальчишек.

И опыт Макаренко в этой колонии пригодился не полностью, потому что в трех старших отрядах, состоящих из ребят от четырнадцати до шестнадцати лет, было много мальчишек из семей партизан, из ленинградских семей, вымерших от голода.

В первом отряде был мальчишка, обожженный зажигательной бомбой, когда он дежурил на крыше своей школы на Невском... А в третьем — двое мальчишек, которые всюду ходили вместе и спали рядом. Эти двое были, оказывается, радистами в разведке. Они, не снимая, носили по две медали: «За отвагу» и «За победу над Германией». Ленточки этих медалей были засалены до такой степени, что не имели своего отличительного цвета.

Надежда Федоровна думала об этом, не зная, как сказать Люде, чтобы та поняла ее, наконец. Дело в том, что количество ребят, или физический объем колонии, обуславливал жизненные процессы в колонии, приближая их к естественным условиям развития подростков.

— Вот смотри, Люда, — сказала Надежда Федоровна. — Например, мы создаем в тайге заповедник или, вернее, два заповедника. Один сделаем маленьким, в окружности два километра, кусочек такой, а другой в несколько сотен квадратных километров. Где будет более естественной жизнь, больше естественных связей, естественных результатов? Маленький заповедник все-таки будет игрушечным, его со всех сторон обрежут дороги, стройки. Постепенно маленький заповедник превратится в большой городской парк. Новые деревья, которые вырастут там, вырастут в парковых условиях, а не в таежных. Ты согласна?

— Что же делать с Колей? — спросила Людмила Михайловна.

— А не пороть горячки. Пойти сначала домой к нему и посмотреть. Ты ведь знаешь, я специально документы Гарпунину задерживаю, хотя давно уже все готово. Вот они, можешь взглянуть. Я хочу, чтобы они —

отец и сын — пожили здесь, у нас на глазах. Я допускаю, что может у них не получится. Но я не могла этого не сделать, не могла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Около девяти часов вечера вчетвером — Надежда Федоровна, Людмила Михайловна, Айгуль и Колька пошли к Гарпуниным. Колька думал, что они его просто проводят, и все-таки необычность этого эскорта тревожила его.

Первой его состояние поняла Надежда Федоровна.

— Коля, пойми, — сказала она, кладя свою руку ему на плечико. — Ты же родной нам человек. Мы должны знать, как ты живешь, как у вас дела с отцом.

— Дела, как дела, — буркнул Колька.

— Вот мы и посмотрим. Может быть, и отцу твоему помочь надо чем-нибудь.

Надежда Федоровна не рассказывала еще о своей первой встрече с Гарпуниным. О том, что он должен приехать, она знала одна почти до самого его появления в городе. Многие ей сказали бумаги: характеристика из Норильска из ремонтно-строительного треста, различные справки, которые она собрала здесь.

Но убедительнее всего ей показалось письмо прораба Решетникова из РСУ-1, где работала бригада Гарпунина. Решетников писал, что Илья Гарпунин трудится в этом ремонтно-строительном управлении уже десять лет, что он бригадир, что вынослив, а это немало в условиях Севера: долгая полярная ночь и длинный полярный день, морозы, ветры со снегом. И Гарпунин справляется с делом. Но тревожит его, Решетникова, одно: за многие годы работы с Гарпуниным он так и не смог составить себе представление о нем, как о человеке. У Гарпунина есть жена Наталья, работает в торговле, но он с нею не зарегистрирован. Эту женщину только раза два за все это время видели вместе с Гарпуниным.

«Уважаемая Надежда Федоровна, — отвечал Решетников на письмо Васильчиковой, которое она ему отправила, наведя справки в Норильске. — Я отлично понимаю вашу тревогу и ваше беспокойство. Но вот что я вам скажу... Вы сами увидите его и сами решите. Мое мнение такое: если Илья Гарпунин — отец вашего воспитанника, надо дать им возможность пожить

вместе. А вдруг да получится семья. У меня у самого долгое время не было детей, и вот появились. Да сразу двое, и оба пацаны. Один тоже Колька, другой Витька. Они так похожи, что поначалу я с трудом различал их. Теперь им по восемь лет, моим пацанам, и я со страхом представляю себе, что было бы со мной, если бы они вдруг не появились. Знаете, о чем я думаю, Надежда Федоровна? Я сравниваю себя сегодняшнего с тем, каким я был до рождения Кольки и Витьки. И даже свою семью, свои отношения с женой сравниваю нынешние с прошлыми. А ведь за спиной война. Сколько человеческой крови я повидал, как сердце было ожесточено! И дело вовсе не в том, что теперь я должен заработать для детей своих или что нибудь в этом роде; дело совсем в другом. Я вообще считаю, что человек не должен жить без детей. И вот вы помогите Гарпунину».

Письмо это пришло месяц назад, и Надежда Федоровна ответила на это письмо, ответила горячо и искренне. Она написала прорабу Решетникову, что письмо его неожиданное и откровенное, что она разделяет его отношение к этому вопросу, ибо у нее есть многолетний опыт, в детдоме она работает еще с Великой Отечественной войны. Но придет Гарпунин, и тогда она сообщит Решетникову обо всем, что здесь произойдет.

Когда Лушкин встретился с Айгуль на вокзале и когда Айгуль обняла своего мужа и вдруг увидела у вагона растерявшегося Гарпунина и узнала его, Гарпунин не просто мялся, куда идти, — он ждал: его должны были встретить. Лушкины ушли с перрона, а в это время к Гарпунину приблизилась средних лет женщина, держа в руках бланк телеграммы.

— Вы Илья Афанасьевич Гарпунин? — спросила она.

— Он самый, — ответил Гарпунин.

— Я Васильчикова, директор детдома, где воспитывается ваш сын.

Гарпунин поставил у ног чемодан и, стараясь дышать куда-то в сторону, чтобы директор не учуяла запах водочного перегара, протянул ей руку. У него начинался отпуск, и все, что ему предстояло сделать в этом отпуске, было для него неожиданным. Да, собственно говоря, он отвык и от отпусков. Шесть месяцев предоставленного ему безделья он и умом своим охватить не

мог. Шесть месяцев — за три с половиной года безвыездной, беспробудной работы. Порою казалось, что вообще не было ни дней, ни ночей за все эти три с половиной года, а был сплошной рабочий день. И вдруг эта пауза.

Первые несколько суток еще дома, в Норильске, Гарпунин спал. Уже начинались белые ночи, до позднего часа было светло, солнце шло горизонтом и закатывалось, и тонуло за горными хребтами, но так неглубоко, что звонкая корона над ним подсвечивала небо чуть не до самого зенита и только в самом зените и на другой стороне неба просматривались звезды, а стены самых высоких городских домов, горы, обращенные к закату, несли на себе его багровый отблеск и казались раскаленными в стылых сумерках короткой ночи.

Двое суток Гарпунин спал в аэропорту Норильска в ожидании самолета. Машина уходила переполненной, аэровокзал был забит битком вылетающими на юг северянами, и тягость праздности Гарпунин ощутил, только сев в поезд где-то под Красноярском.

Надежда Федоровна привела Гарпунина в привокзальный сквер.

— Посидим и поговорим здесь, — сказала она. — Не возражаете?

Здесь было две скамейки, и Надежда Федоровна села на одну из них, оказавшись напротив Гарпунина. Она внимательно рассматривала его и видела, что жизнь потрепала мужика изрядно. Лицо еще молодое, но уже постарело, и сквозь рыжую кудлатую шевелюру просвечивала лысина на затылке.

Гарпунин оперся локтями о колени, сцепив пальцы. Кожа на его руках была пористой, уставшей. Он слушал Надежду Федоровну, не поднимая головы, а ей вдруг понравились его руки, крупные, с сильными запястьями, она видела, как пульсируют жилы на них.

Теперь он не мог скрыть от нее своего похмельного состояния. Но это почему-то не встревожило ее. Она представила себе его долгий, тысячекилометровый путь по стране, представила себе, как ему нелегко было возвращаться в родной когда-то город, и поняла, что этому бывалому с виду человеку страшно.

— У вас сейчас нет детей? — спросила Надежда Федоровна.

Гарпунин ответил не сразу:

— Беременна на третьем месяце. Может, врет...

— Как так — врет?

— А так, — усмехнулся Гарпунин. — Не регистрированы мы с ней. Удержать хочет, не в первый раз. А может, и правда.

— Она знает о вашем сыне?

— Знает, — коротко ответил Гарпунин.

Собственно ей, Надежде Федоровне, не важны были его ответы. Ей надо было увидеть его до того, как он появится в детском доме, и, если она не почувствует к нему хотя бы маленького доверия, встречи Гарпунина с Колькой она не допустит. Но чем больше она вглядывалась в сидящего перед ней человека, который так и не поднял на нее своих глаз, тем больше чувствовала его одинокость и запущенность. Нелегко, видимо, жилось ему все эти годы.

— Я вас встретила здесь специально, чтобы не будоражить ребят в детдоме. Вы не представляете, что значит появление чьего-то отца у нас.

— Я только одного не понимаю, как вы меня нашли?

— А я вас не понимаю, — жестко сказала Надежда Федоровна. — Как вы могли жить, зная, что у вас где-то есть сын? Родной сын!

Гарпунин не ответил.

— А нашла я вас просто. Даже очень просто! — сказала она. — Ведь у вашего Коли ваша фамилия, а не фамилия матери; он Гарпунин, а не Андреев. Ну а дальше довольно все просто. Да что вас волнует это? Важнее другое... Да вы не спешите, осмотритесь, придете в себя и в среду, то есть через два дня, часов в десять утра приходите к нам в детский дом. Колю мы подготовим.

— Добро. Договорились.

Сейчас Надежда Федоровна вспомнила этот разговор с Гарпуниным и все, что ему предшествовало.

Они поднялись по лестнице.

— Коля, — сказала Надежда Федоровна, — ты побудь с Айгуль Ильгизовной, порисуйте там, поговорите, а мы увидимся с твоим отцом.

Надежда Федоровна не могла объяснить, почему ей трудно оставлять мальчика в соседней квартире и пойти без него к его отцу. Была в этом какая-то неправда, неправильность какая-то. А может быть, она ощущала

внутреннее сопротивление Кольки. Но другого выхода она не видела.

— Идем, идем ко мне, — сказала Айгуль. — Мы же с тобой соседи, оказывается, Коля!

Она открыла дверь своим ключом, хотя Лушкин уже шел ей навстречу из глубины квартиры.

— Знакомьтесь, — сказала Айгуль. — Это Коля, наш сосед Коля Гарпунин, — при этом она предупредительно глянула на мужа и подтолкнула мальчика к нему. — А это Кузьма Иванович Лушкин, а вообще-то — дядя Кузьма. — И она засмеялась. Она впервые произнесла отчество своего мужа вслух. — Ну, Кузьма, пои нас чаем, — сказала она.

Колька робко сел за стол. Он уже догадался, что Гарпунина сейчас отделяет от него только потолок. Он стал вслушиваться в то, что происходило наверху, но ничего здесь не было слышно, только шаги.

Колька мысленно прослеживал за тяжелым шагом, за тяжелой поступью там, над потолком. Это шагал Он. Потом была пауза. Потом шаги нескольких человек, но тяжелые шаги Гарпунина Колька хорошо различал. «Наверное, Он повел их на кухню, — думал Колька. — В комнате же такой кавардак!» И ему сейчас было горько оттого, что Надежда Федоровна и Людмила Михайловна могли увидеть это.

Лушкин неумело и суетливо накладывал Кольке варенье прямо в стакан и так же неумело резал хлеб, хотя в другое время отлично все это делал. Он не знал, куда посадить своего маленького неожиданного гостя, и глядел на него во все глаза, потому что Колька неизвестно почему внезапно напомнил ему его самого, маленького, на Волге: и эта тонкая шея с глубоким желобком, заросшая пухом, и пятачок скрученных волос на затылке, и какая-то одинокость всей его фигурки, и даже внутренняя его замкнутость — все задевало Лушкина.

Айгуль пристально оглядела их обоих и рассмеялась.

— Ну, зачем же ты кладешь варенье прямо в стакан? — спросила она.

— А что? Я в его возрасте прямо из банки ел, — в свою очередь рассмеялся Лушкин. — Ты-то будешь пить чай?

Айгуль под села к столу, но чай пить не стала. Волновалась она, и тайна, о которой они уже давно не говорят с мужем, их невеселая тайна, вдруг ожила в ней

при виде этого мальчика. Лихорадочный румянец пробивался сквозь смуглость щек Айгуль, и глаза ее словно болели. Она тревожно глянула на мужа, и он понял, что она вновь переживает свою беду.

Если бы у них было все нормально, их ребенку было бы столько же, сколько сейчас Коле: он ведь родился за год до того случая на лестничной клетке...

Стараясь говорить легко и весело, Айгуль сказала, и не столько для Лушкина, сколько для мальчика:

— Мы решили с Колей побыть здесь, потому что к его отцу пошли директор детского дома и воспитательница Колиной группы. Ты знаешь, у них есть такое право, они просто так детей родителям не отдают, они потом все время проверяют — и через год, и через два. И уже непосредственно к Кольке: — Что же ты, сосед, столько времени живем рядом и ни разу в гости к нам не пришел?

Колька чуть заметно пожал плечами.

Наверху опять раздались шаги. «Видимо, все-таки Он, — так подумал Колька, — повел их в комнату. Проверяют...»

Шаги наверху на некоторое время затихли, потом раздались снова. Видимо, там вернулись на кухню. «О чем они говорят?..» — Волнение Кольки разгорелось так сильно, что он порывисто сделал шаг к двери, но был остановлен вопросом Айгуль:

— Ты еще не видел, как мы живем? Пойдем-ка.

Увидев картину, Колька спросил:

— Это вы прямо на стене рисовали?

— Тебе нравится? — улыбнулась Айгуль.

— Нравится, но на стене же!

— Ну что же, можно рисовать прямо на полу и на стенах домов. Ты можешь представить себе город, у которого дома все расписаны?

И хотя Айгуль и Лушкин не знали, как вести себя с гостем, оба они очень не хотели, чтобы разговор наверху быстро закончился и мальчик ушел.

Тот странный человек, которого Айгуль прежде боялась и презирала, был, оказывается, богаче их: он имел то, чего не было у них, — сына. Она видела, как та же грусть овладевает ее мужем. И та жертва, которую он приносил, живя с нею, с женщиной, потерявшей возможность родить, снова показалась ей непомерной. И, может быть, никогда еще за всю их совме-

стную жизнь она так трепетно не жалела своего мужа, так остро не чувствовала себя виноватой, как сейчас. После Танечки, которая позировала ей, порог их дома еще не переступал ни один ребенок. Танечку увезла мама, и это совпадение тоже действовало на Айгуль. Мама Танечки завербовалась на Север, и, кажется, в этот же самый Норильск, откуда приехал Гарпунин. Но появление Танечки, их короткая, но очень хорошая и бесхитростная дружба, дружба на равных, длилась как-то помимо Лушкина. Может быть, инстинктивно оберегая Кузьму, Айгуль прятала эту дружбу.

Айгуль шел тридцатый год, тридцать четыре было Лушкину. Самая пора быть отцом и матерью. И как тогда, в клубе глухих, когда она пела в присутствии Лушкина и вдруг, точно прозрев, увидела, что ему страшно в ее мире, и увидела, как нелепо, как жутко должна выглядеть она в своих бесплодных попытках притворяться полноценным человеком, так и сейчас она ощутила нечто похожее, только более сильное. На мгновение вся будущая жизнь их вместе показалась ей безрадостной и ненужной.

А в это время наверху происходило вот что. Гарпунин открыл дверь не сразу. Не хотел, не собирался, а все-таки допил то, что оставил с утра. Не мог, не находил себе места. И напился он совсем недавно, уже после того, как Колька ушел в Дом культуры. И напился потому, что боялся встречи с ним. До него, наконец, дошло, с какой легкостью называл его «сыном», безобразие это было.

Надежда Федоровна и Людмила Михайловна не осматривали комнату. Это Кольке только показалось, что они ходили втроем по квартире. На самом же деле, на кухне, расположившись на табуретках, женщины делали попытки заговорить с Гарпуниным, но как только кто-то из них начинал, Гарпунин шел то за папиросами, то за спичками, потом еще раза три, не зная зачем. Потом он долго и молча курил. Вынуждены были замолчать и они, его посетители, и Люда только что не вслух обвиняла Надежду Федоровну в опрометчивости решения — отдать Кольку этому человеку.

Они не слышали, как внизу у Лушкиных хлопнула дверь, как по лестнице прозвучали быстрые шаги, как осторожно Колька прошмыгнул в свою квартиру. И,

когда он, никем не замеченный, появился в коридорчике перед кухней, Гарпунин сказал:

— Не получается из меня отца. Угроблю я его и сам угроблюсь.

— Это как же понять? — ошеломленная Надежда Федоровна резко поднялась с табуретки и в этот момент увидела Кольку. И вдруг он исчез.

Людмила Михайловна первой выбежала на лестницу, но Кольки уже не было. Она постояла там, вслушиваясь в тишину каменного подъезда, и вернулась.

— Эх вы, люди... Эх, люди... — Глаза воспитательницы заискрились слезами. — Он же все слышал!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Как удар грома поразили слова Гарпунина Кольку. Выскочив в темноту улицы, он побежал, не зная куда. Он просто бежал, бежал от обиды. Обидно было оттого, что эта Айгуль, в искренность которой он так верил, вместе со своим мужем стали водить его по квартире, занимая своими разговорами, хотя ему не до них было, они только мешали ему прислушиваться к тому, что происходит там, наверху, мешали нарочно. И в то мгновение, когда отец стал что-то говорить громко и возбужденно, его сорвало с места.

В несколько прыжков он одолел ступени этажа и — словно запнулся перед знакомой дверью, боясь, что она заперта. Но дверь свободно открылась, и он вошел и услышал то, что сказал Гарпунин, его отец.

Больше он ничего не слышал и не видел. Просто какое-то горькое пламя горело перед его глазами и в нем самом. Он бежал по городу, ощущая только это пламя и не видя дороги и ничего вокруг. Даже слез, перехвативших горло, он не чувствовал. Наверное, так бывает, когда люди узнают о предательстве. Нет ни слов, ни мыслей — одна горечь.

Сколько времени он бежал, Колька не знал, как не знал и того, как далеко он от своего дома, в какой части города находится. Где-то позади его шумел, пыхтел паром, ворочался большой завод. Но его отсюда не было видно, и только над тем местом, где стоял этот завод, висело невысокое зарево.

Каменные дома сменились деревянными, барачного типа, кое-где в их окнах горел свет. Потом пошли ма-

ленькие дома — хатки, отстоявшие друг от друга далеко, как в деревне. Вдоль заборов тянулся деревянный тротуар. Разбитая, давно немощенная дорога и кюветы были залиты водой, в ней отражались отблески далеких огней. Потом дорога уперлась в какой-то котлован, оборвался и тротуар. Была тропинка, которую Колька чувствовал ногами, но не видел перед собой. Потом запахло полынью и соляркой, и он оказался на косогоре.

Тропинка пошла вниз, в абсолютную тьму, и вдруг повеяло холодным широким дыханием реки, и Колька понял, что он вышел на берег.

Где-то далеко впереди на уровне глаз полз во тьме слева направо красный огонек, а над ним чуть левее светился другой — белый, и слышался размеренно-спокойный стук дизеля. Это шел вверх по течению катер.

Глаза уже привыкли в темноте. Колька стал различать небо и воду и даже невысокий кустарник на плоском левом берегу, печатавшийся неровной темной тенью на фоне чуть-чуть более светлого неба.

Собственно, даже здесь, на окраине города, истинная ночь сохранилась только в самом зените неба, подпираемого размытым сиянием электрических огней по всему горизонту. Колька присмотрелся и увидел сквозь темноту на фарватере реки силуэты барж. Слабые огни над палубами обозначали, что баржи стояли на якорях. Их носы были повернуты против течения. Доносились поскрипывания якорных цепей, шелестела вода. Где-то совсем неподалеку похлопывали, как ладошами, волны о борта невидимого судна.

Сама судьба подсказала Кольке решение. Он теперь твердо знал, что ему надо делать. Как он пожалел в эту минуту, что ему нет шестнадцати лет!

Однажды он видел на доске объявлений бумагу — не то плакат, не то афишу о наборе в юнги речного флота. И такими соблазнительными были условия! Там четко перечислялись все льготы, все доплаты, и стипендия, и обмундирование. И были указаны требования, предъявляемые к будущим юнгам. Всем этим требованиям Колька мог соответствовать, кроме одного: до шестнадцати ему не хватало пяти лет.

Одажды — год назад — всю группу Людмила Михайловна возила на левый берег. Пузатый, бокастый — от колес, закрытых огромными кожухами, пароход с

дугой поперек кормы, с закопченной трубой, с коротенькой мачтой, с бухтами канатов, с якорями в железных ноздрях и горластым капитаном, похлопывал красными плицами по воде, сверкал в июльском солнце надраенными медяшками, взбудораживая воду за кормой, перевез их на левый берег. И сейчас Колька представлял себя таким же, как те двое молодых матросов, которые подавали трап и убирали его, — в тельняшках, в серых брюках, заправленных в голенища кирзовых сапог, — представил себя таким же хмурым, кудлатым и загорелым, и в его замкнувшейся от горя жизни вдруг открылась дальняя дорога.

Он ясно понимал: юнгой его не возьмут. Но если он залезет в отходящую куда-нибудь в дальнейшее плавание в низовья, а потом через пролив в открытое море баржу-самоходку, то там, в открытом море, когда он появится перед всеми на палубе, им от него уже не отвертеться. Не выбросят же его в море, не спускать же на воду шлюпку с гребцами, чтобы везли его обратно. Но дальше этого жизнь он свою не представлял. Придет ли самоходка к конечной цели или будет кочевать по морю, не заходя в порты — а это больше всего устроило бы его, Кольку, — ему было все равно. Сколько времени миновало с того мгновения, когда он услышал слова Гарпунина, час или два? Но сейчас он ощущал себя так, словно за эти часы прожил долгую и трудную жизнь.

Он пошел вдоль берега в ту сторону, откуда доносилось монотонное хлопанье волн и где за изгибом берега должно стоять невидимое пока судно. Это была самоходка. Колька увидел ее силуэт. Самоходка, по всему виду, была груженной, но ее почему-то не увели на фарватер, а привели сюда, к глухому, вдали от основного порта, причалу, и она стояла, плотно прижавшись к нему своим черным, осевшим бортом.

Два троса были переброшены с баржи на причал. Они поскрипывали и попискивали в такт легкой качке.

Некоторое время Колька, спрятавшись за груды пустых бочек, у самого края причала, не огражденного никакими поручнями, всматривался в баржу, прислушиваясь к тому, что происходит на ней.

Кто-то прошел, гремя сапогами, по железной палубе: открылась, выплеснув пучок света, дверь кормовой надстройки; загремело возле рубки что-то жестяное, и Колька догадался: вахтенный задел ногой рупор; про-

звучал тихий человеческий голос, словно кто-то про-
бормотал спросонья. И все стихло, кроме стука волн
по ту сторону баржи, да позванивания швартовых и
поскрипывания троса.

Колька, все так же прячась за бочками, осторожно
ступил на край трапа. Он шевелился под ним и дро-
жал, как живой.

Баржа простояла всю ночь, и всю ночь Колька
прятался в шлюпке под брезентом. Брезент провис, ту-
да утром во время дождя налилась вода, Колька про-
вел по брезенту пальцем, и вода стала капать. Колька
ловил капли ртом, их было так много, что он вскоре
утолил жажду и отодвинулся. Страшно захотелось
есть. Колька осмотрелся в надежде увидеть в шлюпке
какой-нибудь завалявшийся сухарь, но ничего съедоб-
ного не нашел.

Просвечивающее где-то в щель солнце озаряло па-
дающие капли, и они уже начали раздражать Кольку.
Сквозь их легкое постукивание по днищу он слышал
далекие голоса людей. Ему даже показалось, что
это голоса ребят из детдома. Особенно выделялся
один — он так походил на голос Володьки Терентьева.
Колька инстинктивно припал к днищу, притаился. Но
вскоре голоса исчезли, только надоедливый стук ка-
пель напоминал об одиночестве и все возрастающем
голоде. Вскоре он сделался нестерпимым, и Колька
осторожно, чтобы не задеть брезент или пошевелить
его, переполз через шпангоуты, стал теперь уже вни-
мательно, не упуская ничего из виду, осматривать
шлюпку. Не стояла же она вечно здесь, плавала, а раз
плавала, значит, в ней приходилось иногда и есть лю-
дям. И вдруг в форпике, в самом носу шлюпки, он
наткнулся на НЗ. Створка форточки была закрыта не
наглухо, вместо замка там торчала палочка, он выта-
щил палочку и открыл створку. В непромокаемом па-
кете хранилось что-то съестное. Колька на ощупь уста-
новил это и с огромным трудом зубами разорвал па-
кет — настолько плотной была пленка, — обнаружил
в нем галеты, какие-то банки и еще какие-то пакеты и
пакетики.

Когда он грыз сухие галеты, ему казалось, что
хруст, раздававшийся в шлюпке, был слышен за
версту, и он подолгу изо всей силы сдерживал себя,

держал каждый кусочек галеты во рту до тех пор, пока она не намокала.

Оставшись один, Гарпунин не сразу понял, что случилось в его квартире, почему так странно исчезли эти женщины. И какое-то неясное беспокойство овладело им. Он медленно ходил по квартире, стоял перед ночными окнами, засунув свои могучие руки в карманы и сутулясь. Возвратился на кухню. Выпивка еще оставалась. На этот раз он запасася как следует. Ему, здоровому мужику, привыкшему к вину за двадцать лет самостоятельной жизни, бутылка-две на день, что слону дробина.

Нельзя сказать, что он был пьян, когда пришли к нему эти люди. Тяжеловато было — не скроешь. И не было ясности в голове и в душе легкости. Это точно. Но пьяным он себя не ощущал.

Обычно он крепко выпивал в конце трудовой недели, по случаю получки или праздника, по случаю дня рождения своего, Натальи, знакомых — друзей у них с Натальей не было — или на поминках, тут уж Гарпунин не сдерживал себя. Много у него набиралось поводов для хорошей выпивки. Но пить просто так, от безделья и тоски, стал только в отпуске.

Пить ему сейчас больше уже не хотелось. Он взял в руки открытую еще бутылку с водкой, ее холодная тяжесть не отозвалась в душе. Не этого хотелось ему почему-то. Он даже открыл бутылку и плеснул в стакан ровно «стопку» отработанным за многие годы движением — можно было не мерить. До грамма. Он даже поднес стакан к губам, но отставил его. И вдруг понял, что он ждет Кольку. «Где Колька-то? — подумал он. — Ну, эти бабы толкались здесь, а чего, собственно, они приходили?» С трудом в его сознании образовалась связь этих событий. Он пошел в комнату, завалился на койку, не раздеваясь. И, закинув руки за голову, стал думать.

Это было для него — как работа. «А чего они ушли? Чего я им ляпнул?» Вспомнил, что ляпнул: «Бог мой, ну, едрена мать! А что... А ведь на самом деле...»

Присутствие Кольки вызывало в нем каждый раз чувство неловкости, но он подавлял в себе это чувство, боролся с ним. Его угнетало, что Колька постоянно

следит за ним посторонним и грустным взглядом. А то таким, словно хочет спросить или сказать что-то. И между ним и Колькой не возникало такого контакта, который возникает между людьми, даже чужими, но живущими в одном доме, в купе поезда какое-то время вместе. Женщину ту, Евдокию, с которой он жил три года, Гарпунин не помнил сейчас в лицо. У него не осталось от нее ни фотографии, ни какой-нибудь вещи, ни искорки чувства к ней. У него и до нее было много баб, он и тех плохо помнил. И он уехал, почувствовав, что если не уедет, то обречет себя на жизнь с нелюбимой, ненужной женщиной, что его затянет быт, необходимость заботиться о тепле, одежде, жратве и обо всем прочем, что бывает в жизни семейного человека.

И вдруг он сейчас подумал: никакой особенной легкости в отношении с Евдокией у него не было. Просто это была обыкновенная материковская жизнь, материковская обстановка, которая имела свои особенности: на Севере было мало женщин, на материке — мало мужчин. А таких, как он, Гарпунин, молодых, сильных, уверенных в себе мужиков, вообще по пальцам пересчитать, а в РСУ их было только двое: он да завскладом строительных материалов — толстомордый, хорошо сохранившийся на тыловых харчах, присадистый мужик. Но тот ему был не соперник, потому что тряся над своей мощной, скопленным несправедливым путем за годы войны, когда тоже заведовал складом, только продовольственным — складом резерва. Заведовал НЗ и вел тихую, потемочную жизнь. Так же по инерции он жил спустя три года после войны.

Тот мужик выбирал себе робких, но выносливых, которые бы могли вести хозяйство, и они временно жили у него, в его крепко рубленной хате со стеклянной верандой, овощехранилищем и водяным отоплением, питающимся от автономной кочегарки, жили на правах не то домработниц, не то экономок, если по-старому. И они уходили от него, отработав «положенное», в том же и с тем же, в чем и с чем приходили к нему. Он словно выпивал их, высасывал, как паука.

А Гарпунин жил лихо и на виду у всех, он не прятал своего волокитства, своей удали почти разбойной, он и работать умел и гулять. Он подумал, что Евдокия, в сущности, не держала его. Живя с ней, он оставался свободным. То вовсе не приходил, то приходил,

когда хотел, не оправдываясь, не придумывая причин, но только с каждым разом ему становилось все более неловко, и вот это ощущение неловкости и вины, особенно после рождения Кольки, стало стеснять его, раздражать, но он не знал, что делать с этим чувством.

Мальчишку он не помнил почти совсем. Маленьким, грудничком он держал его несколько раз. Но какая-то неприязнь возникала у него в душе при этом, — убедил себя, что не его Колька. Но, когда он увидел Кольку здесь, сейчас он был твердо убежден, что Колька его сын, и ничей больше.

Может быть, попозже, когда Колька сделался бы похожим на человека и без пеленок, в Гарпуние проснулось бы отцовское. Но все заслонила ему тогда и эта вот женщина — Айгуль, которая жила сейчас этажом ниже.

Бригада ремонтировала здание для объединенного детского комбината, это был первый такой комбинат в городе, вернее, должен был им стать. Нужда в нем, в этом комбинате, была огромной. И не успели они отремонтировать первый этаж и перейти на второй, как туда въехали дети. Не хватало материалов — досок для полов, не было петель для дверей, стекол, чтобы сменить полопавшиеся в окнах второго этажа. Работа затягивалась. Тогда-то и пришла Айгуль в бригаду Гарпунина. Стройная, тонкая, как струна, беззащитная, с просящим взглядом, она казалась доступной. И вдруг... осечка. Айгуль не видела его, Илью Гарпунина, в упор, больше того, ее глаза смотрели на него с нескрываемым гневом и презрением.

И тут Гарпунин зацепился: чем большее сопротивление он встречал, тем больше он хотел добиться Айгуль. А потом, — он понял это уже на Севере, — то, что влекло его к Айгуль, — было самой настоящей любовью, или влюбленностью, или как там называют это состояние. Именно она, Айгуль, с ее пронзительной чистотой, с ее недоступностью, с ее щемящей душу уязвленностью, своим присутствием в его жизни заслонила Евдокию и сына. И с каждым днем Евдокия казалась ему все более некрасивой и ненужной, и он все яростнее убеждал себя в том, что Колька не его сын. Душу бронировал свою, а теперь броня истончилась, да, собственно, брони уже и не было, а была боязнь перед неизвестностью, перед незнакомым и непонятным..

«Постой-ка, — подумал он. — Да ведь я же ляпнул им что-то о Кольке. А в это время стукнула дверь. Колька, наверное, все слышал».

Волосы зашевелились на голове у Гарпунина, и он резко сел на постели, опираясь о ее край кулаками. «Морду бы надо набить мне, да некому».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Лушкин и Айгуль встретили женщин из детдома на лестнице. Лушкин сказал им:

— Надо звонить в милицию.

— Никаких милиций! — отозвалась Надежда Федоровна. — Его надо искать нам, всем нам. — И обратилась к воспитательнице: — Люда, надо вот что. Иди в детский дом, поднимай ребят... Володю Терентьева. Он знает все их тайные места, обойдите их и, если найдете, ведите Кольку ко мне в кабинет. Но сначала идите на городскую площадь, к газетному киоску, там распределимся.

Вообще-то, конечно, надо было позвонить в милицию. Если Колька Гарпунин побежал на вокзал, то достаточно пяти минут, чтобы сесть на любой поезд, и он уедет в любую сторону, а там ищи его по полустанкам. Но не могла Надежда Федоровна объявить Кольку беглецом из детдома и почему-то верила, что они найдут его.

— Нет, нельзя было, я права, Надежда Федоровна, Колю отдавать чужому человеку. Это должно было случиться, если не сейчас, то еще раньше! — отведя директора детского дома в сторону, сказала Люда. Ее всю трясло.

Надежда Федоровна подняла на нее тяжелый, как у мужчины, взгляд.

— Вот что, — сказала она медленно, — сейчас же прекрати истерику. Здесь никто не виноват. Это жизни! Что ты в ней понимаешь, девчонка? Показать издали ребенку человека и сказать, что это твой отец, да? И сказать еще, что останешься здесь, с нами, в детском доме, потому что твой отец человек мерзкий и гадкий, и он не достоин быть твоим отцом, да? Больше глупости и подлости я не знаю. А не сказать: «У тебя есть отец», это еще хуже, это почти преступление. Пойми ты, голова садовая, что этим-то и трудна наша

работа. Пойми ты, Людмила! Никакой, даже самый прекрасный, детский дом не может заменить отца. Не может. И Коля Гарпунин, когда подрос, не простил бы нам этого — ни мне, ни тебе. Я на себя такую несправедливую тяжесть брать не могу и не хочу. Иди поднимай старших ребят.

Людмила Михайловна бежала по темному городу. Горели дежурные огни на столбах, светились витрины уже закрывшихся магазинов. Навстречу попадались прохожие. Плавилась в свете фонарей казавшиеся ей одинаковыми лица.

Вдруг у нее возникла мысль остановиться здесь, на площади, остановиться и сказать — не прокричать, а именно сказать, но так, чтобы голос ее был слышен всем, чтобы все остановилось, чтобы остановились автомобили и вышли из них люди, чтобы замерли и повернулись к ней те, кто шел сейчас по тротуарам, сказать, что вот сейчас, сию минуту, среди них погибает мальчик, пропал мальчик, пропал человек, он ни к кому из них не придет, потому что ему не к кому идти, что это страшно — быть одному среди такого множества людей, что это несправедливо, неправильно, что это надо немедленно поправить, надо найти мальчика, и сделать так, чтобы никогда никто ни на единое мгновение не мог посчитать себя никому не нужным, как это произошло с Колькой Гарпуниным!

Дальше этих слов мысль ее не шла. И, уже подбегая к детскому дому, она высвободилась от этого наваждения.

Едва не зацепившись плащом за калитку, воспитательница пересекла двор и взлетела по ступенькам в парадное. В вестибюле за столиком вахтера никого не было. Горела настольная лампа. В глубине коридора справа раздавался увещающий, но спокойный голос вахтерши тети Тани. Наверное, она успокаивала группу старших.

Обстановку в детдоме Людмила Михайловна восприняла сразу своим натренированным слухом. Даже то состояние, в котором она находилась сейчас, не мешало ей это сделать. Так уже выработалось в ней за годы работы.

Невысокая, полная, средних лет женщина, тетя Таня медленно шла по коридору, выключая верхние лампы. Людмила Михайловна пошла ей навстречу.

— Тетя Таня, старшие спят?

— Спят, спят, и все на месте. А что случилось? Убежал кто?

Людмила Михайловна дотронулась до ее мягкого плеча и сказала:

— Да нет, тетя Таня, ничего не случилось. Мне просто нужна старшая группа.

— Я только что погасила у них свет. — Тетя Таня еще не верила, что ничего не случилось. — Все на месте. — И Терентьев, и все остальные. Сегодня у них были занятия на заводе. Устали.

— Это хорошо, — машинально, безо всякого выражения сказала воспитательница, — Это очень хорошо. И она двинулась по коридору в сторону комнаты, где жили старшие.

Тетя Таня пошла было за ней, но Людмила Михайловна остановила ее:

— Не надо, я сама. Я должна кое-что спросить у них. Кто сегодня дежурит?

— Ангелина Ивановна.

— Да, да, Ангелина Ивановна. Пожалуйста, позовите ее сюда. Она наверху? Впрочем, нет, я поднимусь сама к ней, а вы идите на свое место, мне надо с ребятами поговорить.

Людмила Михайловна направилась в комнату старших ребят. Здесь жили шестеро, сейчас их было только пять. Первой от входа стояла кровать Кольки Гарпунина, она была застлана.

Ребята только улеглись. Они слышали голоса в коридоре.

— Ребята, вы не спите? — тихо спросила Людмила Михайловна. В этой комнате нужно было говорить со всеми сразу. Они дружили и знали друг о друге все. Но ответа не последовало.

Так уж случилось, что Колька Гарпунин, мальчик младше Вовки Терентьева и остальных ребят на два класса, жил здесь. У Кольки было какое-то промежуточное положение. Он незаметно перерос ту группу, с которой ходил в школу, и не дорос до старших. Такое среди мальчишек бывает. А тут еще прошлой осенью Надежда Федоровна приняла в детдом еще четверых ребят Колькиного возраста — троих мальчиков и одну девочку. Мальчишек с трудом разместили в спальнях Колькиной группы, а самого Кольку перевели сюда, в группу старших.

— Ребята, вы не спите? — повторила свой вопрос Людмила Михайловна.

И только тогда раздалось со всех кроватей;

— Здрасьте, Людмила Михайловна.

— Я знаю, вы все друзья, — заговорила она, волнуясь. — Дело в том, что Коля Гарпунин ушел от отца.

— Как ушел?!

— Он ушел, и его нигде нет.

— Я же ему говорил! — горячо воскликнул Вовка Терентьев. Он даже сел в кровати. — Какой это отец, сначала бросает, потом является. Десять лет ни слуху, ни духу, а тут на тебе! Да и не верю я, что сам он приехал, вы его нашли! Мешал вам Колька, мешал, да?

— Не говори так, Терентьев! — почти со слезами на глазах сказала Людмила Михайловна. — Ты же ничего не знаешь. Об этом мы поговорим потом. Сейчас самое главное — найти Колю. Ночь, большой город, но вы, наверное, знаете, куда он мог уйти.

— На фронт уехал, — слышалось из темного комнатного угла. Людмила Михайловна не знала, кто это сказал, но в голосе мальчишки была усмешка.

— Ребята, сейчас не до шуток, — возмутилась Люда. — Какой фронт? Надо искать Колю Гарпунина.

— Заткнись ты, остряк! — бросил Вовка в темноту. — Подъем, ребята!

Оделись они быстро, да и что надевать-то мальчишкам — штаны, рубашку, пиджачок, носки, ботинки. Через две минуты все были готовы. Только никто из них не знал, куда идти надо.

— Все готовы? — Людмила Михайловна оглядела ребят. — Подождите, — вспомнила она. — У дежурной воспитательницы должен быть электрический фонарик.

— И у меня есть фонарик, — сказал Вовка. — Эй, Степка, и ты доставай сюда свою лампочку, не жмись. Я потом отдам тебе новую батарею.

— Отда-ам, — протянул тот, которого называли Степаном, — где ты ее возьмешь?

— Возьму. Сам сделаю! — Вовка Терентьев начинал уже злиться. — Людмила Михайловна, он фонарик держит для того, чтобы жрать под одеялом. Все, что достанет, под одеяло спрячет и ночью жрет!

Все, что говорил Вовка Терентьев, Людмила Михайловна слушала краем уха, и ее не задевали эти слова.

— Хорошо, — сказала она решительно. — Берите

свои фонарики и ждите меня у столика вахтера. Только тихо, не будите остальных.

Но скрыть того, что случилось, от остальных было невозможно, так уж устроен детдом. Здесь ничто не проходит бесследно: ни тревожная возня, ни суматоха, ни оживление в необычное время, ни звук торопливых шагов ночью по лестнице, ни скрип двери, хотя, казалось, к этому должны были бы привыкнуть — к постоянному совместному житью множества людей, и, когда Людмила Михайловна шла по коридору, чтобы затем подняться на второй этаж к дежурной воспитательнице, все правое крыло уже не спало.

Ангелина Ивановна уже тоже чувствовала, что случилось что-то неладное. Она пыталась выяснить это у тети Тани, но та ничего не могла ей сказать толкового.

— Ангелина Ивановна, мне нужен ваш фонарик, — сказала Людмила Михайловна, входя в комнату воспитателей. — Он должен быть здесь, в столе.

— Прежде всего, — резко произнесла того же возраста, что и Людмила Михайловна, тонкая, с высокой прической и темными глазами, полными злого блеска, Ангелина, — вы должны мне объяснить: что происходит? Я — дежурная по детскому дому и отвечаю за весь порядок в нем. А вы врываетесь ночью, устраиваете тарарам, забираете детей, ведете их куда-то, и я должна дать вам еще фонарик?

— Понимаете, в чем дело: сбежал Коля Гарпунин. Он сбежал из дома!

— А при чем здесь детский дом?

— Как при чем?

— А так, уважаемая Людмила Михайловна! Ваш Гарпунин уже не является нашим воспитанником. У него есть семья, и она несет за него ответственность. Лично вы, как воспитательница, можете делать, что хотите, но детей с вами я не отпущу. — Она помолчала. — Во всяком случае без приказа директора.

— Да вы в своем уме? — Людмила Михайловна не нашла других слов. В это время подошли ребята, и, повысив голос до визгливой ноты, дежурная на весь кабинет крикнула:

— Немедленно отправляйтесь в свою комнату, кому я сказала?

Основательно растерявшись, Людмила Михайловна не знала, что сделать. Крупные слезы потекли по ее бледному лицу. Дрожащими пальцами она застегнула

свой плащ, хотела было уйти, но тут зазвонил телефон. Ангелина Ивановна подняла трубку:

— Дежурная воспитательница слушает.

Телефон работал так, что Людмиле Михайловне был хорошо слышен голос Надежды Федоровны.

— Ангелина Ивановна, — сказала та. — Ничего ужасного не произошло. Но сейчас у вас должна появиться Соснина, — и она назвала имя, отчество, — помогите ей. Надо, чтобы Людмила Михайловна подключила ребят старшей группы, ну те, знаете, что живут в крайней комнате по коридору направо... Терентьев и остальные — кто захочет... Они должны помочь нам, понимаете?

— Да, я понимаю вас, Надежда Федоровна, но Соснина уже здесь.

— Очень хорошо.

— Потом, когда я вам все объясню, дадите ей трубку.

— Хорошо.

— Тот мальчик, — снова зазвучал в трубке голос Надежды Федоровны, — которого недавно забрал отец, убежал из дома. Ребята старшей группы с ним дружат, и они, наверное, знают, где можно искать Колю. Это, конечно, нарушение режима, но придется на это пойти. Нельзя в таком положении оставлять мальчика одного. Вы меня поняли?

— Да, поняла. — Ангелина ответила явно недоброжелательно, но с достоинством.

В городе затихало движение. Редкие пешеходы шли по тротуарам, и постовой милиционер, вышедший из дежурного милицейского автомобиля, — наверное, ему надо было посмотреть, как закрыт магазин, — увидел группу людей на площади, освещенных ядовитым зеленым светом витрин, и стал пристально наблюдать за ними. Он даже сделал несколько шагов в их сторону, но остановился, видимо, поняв, что здесь — случай, не требующий его вмешательства.

...Не предпринимать ничего они не могли. Это было просто невозможно — отложить поиски Кольки Гарпунина до утра, а сейчас, когда темнота города нависла над ними, всем им невольно казалось, что Колька в беде, из которой его надо немедленно, сию же минуту выручать.

— Ну, что же, — сказала Надежда Федорова негромко, собрав всех возле киоска, — давайте распределимся. Вы, Людмила Михайловна, пойдете с ребятами по поселку. В подъездах не шуметь, не беспокоить жителей. Посмотрите, может, где-нибудь окажутся незакрытыми чердаки. Вряд ли он останется на улице, потому что еще холодно ночью. Дойдите до конца поселка, садитесь на автобус и приезжайте на вокзал. Я буду там. А вам, — обратилась она к обоим Лушкиным, хотя до этого разговаривала с одной Айгуль, потому что не знала отчества ее мужа, — наверное, надо пойти в речной порт, если, конечно, не возражаете. Вы — мужчина и должны знать, где в порту может спрятаться мальчик. А я пойду на вокзал и по дороге посмотрю трамвайные и автобусные остановки. Там кое-где есть будки, может, он там. Я не думаю, что он мог уйти далеко от знакомых мест. Ведь Коля почти не бывал один в городе, Люда?

— Я не знаю, я ничего не знаю, — отозвалась Людмила Михайловна. — Ну, в кино мы ходили, в ТЮЗ, он места эти знает. Прошлым летом ездили на пляж к кабельному заводу, но там один песок.

— Ладно. Двигаемся. Идите, товарищи. Ищем до двух часов ночи. Из порта, как уж у вас там получится, позвоните, пожалуйста, в детский дом, — обратилась она к Лушкиным. — Запишите телефоны вахтера и дежурного воспитателя или запомните.

— Хорошо, — отозвалась Айгуль, — я знаю номера ваших телефонов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Лушкины в порт так и не попали, несмотря на то, что ворота не закрывались. Через эти ворота почти сплошным потоком шли в порт автомашины, груженные ящиками и контейнерами, а навстречу этому потоку с освещенной территории порта двигались такие же доверху груженные грузовики.

Когда Лушкины вошли в проходную, вахтер — мордастый пожилой мужчина, в старой гимнастерке, с трудом обтягивающей его рыхлый большой живот, в фуражке с непонятной кокардой, в сапогах, белых от пыли, штырем запер перед самым их носом решетчатую дверь.

— Куда? — спросил он, уйдя в другую дверь и выглянув в окошко.

Кузьму ввела в заблуждение вахтерская гимнастерка, он подумал, что этот мужик воевал. И еще он подумал, что должны «сработать», — он вспомнил о них только что, — орденские колодки на левой стороне его, Лушкина, поношенного пиджака.

— Слушай-ка, выйди к нам, — обратился он к вахтеру.

И тот вышел, загромождая своей массивной тушей небольшую в общем-то дверь служебного помещения. Оттуда несло жаром, там трудилась вся буржуйка и хлопал крышкой закопченный чайник на ней. А рядом — тоже в закопченном солдатском котелке булькало какое-то варево. И этот котелок тоже помог Лушкину ошибиться.

— Чего надо-ть? — произнес сиплым, расторопным голосом вахтер.

— Слушай, друг, — повторил Лушкин, — тут у нас дело такое, необычное...

— Все необычные дела у не рабочее время. А сейчас ночь, у порту делать нечего. Пропуск есть?

Лушкин постарался встать так, — и Айгуль поняла его, с нежностью внутренне улыбнувшись, — чтобы тусклый свет сорокасвечовой лампочки у низкого потолка проходной осветил его орденские колодки. Но вахтер не понял ничего, и сразу стало ясно, что на фронте он не был и, может, все свои годы проработал в порту в «ночь — на третью». За спиной этого человека, — с презрением и какой-то даже ненавистью подумал Кузьма, — была все эти и военные годы сытая, тихая жизнь...»

Низ живота вахтера охватывал широкий поясной ремень, перекошенный тяжестью нарабеллума в затасканной немецкой кобуре.

— Нет, ты все-таки послушай. У нас... — Лушкин запнулся и твердо повторил: — У нас из детдома мальчонка сбежал. Вот такой. — Он поднял руку и показал на примерный рост Кольки. — Белобрысый и худенький.

— Ну и чо? Никаких мальчишек тут не проходило. Попробуй, пройди у меня.

— Да нет, ты никак меня не поймешь, друг.

Все еще не веря в то, что вахтеру наплевать на его фронтовое прошлое, Лушкин сказал:

— Он здесь и не пройдет, он мог где-нибудь через забор перелезть в другом месте или берегом сюда попасть. Мы должны посмотреть. Не лезть же нам через забор!

— А здесь вы не пройдете ни под каким видом. Пропуск давай!

— Да пойми ты, какой пропуск, ночь уже! А утром будут уходить пароходы, он залезет на один из них, и ищи ветра в поле. И себе горя наделает, и людям. Глупый ведь, — все еще уговаривал Лушкин.

— Я сказал, не пройдете, — чеканя каждое слово, повысил голос вахтер. — Ишшо чего, в грузовой порт ночью! Да кого найдешь в темноте-то? Искать они собрались...

— Э-э... тогда прости. Ошибся я. Я думал, ты фронтовик, а ты... — Голос Лушкина сделался железным.

— Мой фронт тута... Я усю войну глаз не смыкал.

— Оно и видно, — отозвался Лушкин. — Морду-то наел, смотреть тошно. Посмотрел бы я на тебя, если бы твой сын сбежал.

— Мой не сбегет, а вы давайте отседова...

Айгуль боялась, что разгоряченный Кузьма сцепится сейчас с нахальным мужиком, который, в сущности-то, выполнял свое дело и не должен был пускать ночью на территорию порта незнакомых людей, и она тихонько потянула Лушкина за рукав.

— Ну, давай, бодрствуй! — опустил Кузьма руки. — Пойдем, Айгуль.

Он вышел спокойный, и ничто не выдавало его состояния. Но по тому, как он стал закуривать, сломав несколько спичек, и зажег только четвертую или пятую, и по тому, каким бледным было лицо его в неверном свете горящей спички, Айгуль поняла, как тяжело дался ему этот разговор.

— Наверное, он прав, — сказала она. — Где мы ночью будем его искать? Мы и порта с тобой не знаем.

Да, пожалуй, искать Кольку в порту было делом бессмысленным, но и не искать они его не могли. Всего, может быть, с полчаса видел Лушкин этого Кольку Гарпунина, и он сам еще не знал до этого часа, как сильно царапнула за сердце история с его исчезновением. Он много слышал о Кольке от Айгуль и догадывался, что произошло у мальчика с отцом, Ильей Гарпуниным. Прежняя неприязнь к этому человеку ожила в нем, и некоторое время Лушкин не признавался себе,

что все-таки завидует Гарпунину-старшему и завидует именно потому, что у Гарпунина есть сын. А у него, у Лушкина, нет ни сына, ни дочери, маленькой, крошечной девочки, похожей на Айгуль. Еще ни разу он не испытывал такой тоски по собственному ребенку, как сейчас. Тоска эта была бесформенной, не выражалась никакими словами, никакими образами, тоска — и все. Может, когда-нибудь медицина научится справляться с бедой, которая свалилась на них — на него и на Айгуль, — а пока она, медицина, не умела бороться с этим.

Правда, когда захватывала их работа, каждого — своя, они забывали об этой беде. И вообще, если почестному рассудить, большее время жизни они о беде своей не думали. И вдруг Лушкин понял, что теперь с каждым годом эту беду они будут ощущать все сильнее и сильнее, и, в конце концов, придет такое время, когда она станет осознаваться ими постоянно. Тем более, что все еще теплившаяся в нем робкая надежда наперекор всему иметь ребенка, все более угасала, ибо жизни своей дальше сорока лет Лушкин почему-то не представлял, и ему казалось, что в тот час, когда ему минет сорок, жизнь станет неинтересной. А это расстояние до сорока, до его, им самим себе определенного срока, сокращалось со все большей стремительностью. Наверное, то же самое испытывала и Айгуль.

Лушкин глубоко затянулся папиросой, заставляя себя успокоиться — в разговоре с вахтером было такое мгновение, когда ярость и гнев ослепили его, но из-за жены он все-таки заставил себя сдержаться и, когда, коротко глянув на нее, стоявшую лицом ко въезду в порт, увидел, что яркий свет над портом, проникающий в решетчатую дверь, отражается в ее переполненных слезами глазах, он понял, почему она плачет.

— Ну ладно, ну ладно, — сказал он, обнимая ее за плечи. — Пойдем.

Айгуль научилась понимать мужа и по короткой, почти незаметной для постороннего жестикуляции, а не только по движению губ, и сейчас, по прошествии стольких лет, они в любой обстановке, даже в темноте понимали друг друга.

— Тебе нужна другая жена, — сказала сквозь слезы Айгуль. — Другая. У меня самой вот тут... — она с силой приложила свою ладошку к груди, — вот здесь такая боль, такая...

— Ладно, — сказал Кузьма, еще сильнее прижимая ее к себе. — Ладно. Никто мне кроме тебя не нужен. Это я чуть не потерял тебя...

Они пошли вдоль забора порта. Он тянулся долго, чуть не с километр. Потом забор кончился, но дальше шло проволочное ограждение подъездных железнодорожных путей.

Они перешли подъездные пути и пошли вдоль этого ограждения дальше. Щебенчатое шоссе, пересекавшее железнодорожное полотно, уходило влево, во тьму, к реке и вправо. — в сторону большого, далекого, за сотни километров отсюда другого восточного города у океанского побережья.

У переезда город уже кончался, но отсюда хорошо был виден завод, как пароход на рейде — весь в огнях и в дымах.

Они пошли по дороге, ведущей к проулку с нестройным рядом деревянных домов по обе стороны от нее, потом начался деревянный тротуар. И вдруг дорога пошла вниз, и по тому, что легче стало дышать, они почувствовали близость реки. Потянуло прохладой и речной свежестью, которая словно отсекала индустриальный запах порта.

Напрасно старался вахтер на проходной. На территорию, так бдительно охраняемую им, можно было пройти с берега, где не стояло никаких заборов и не было никаких заграждений.

Неожиданно они провалились в залитую дождевой водой яму. Лушкин успел инстинктивно подхватить Айгуль. Потом они лезли через какие-то кустарники и, наконец, поняли, что бродить по таким местам в поисках Кольки и вовсе бесполезно.

Лушкин увидел какое-то старое бревно, стряхнул с него труху, усадил Айгуль, потом, сняв пиджак, сел рядом и накинул пиджак на узкую спину жены.

Айгуль положила голову ему на плечо и, обхватив его спину рукой, прижалась к нему. И Лушкин чувствовал запах ее волос и чувствовал, как слезы, уже редкие теперь, падают ему на грудь, прожигая тонкую ткань рубашки.

— Успокойся, Айгуль, успокойся. Найдется Колька, — утешал Кузьма.

— Но неужели Васильчикова... — Айгуль, подавляя волнение, с трудом произносила каждое слово, —

неужели она все же отдаст этого маленького, беззащитного мальчика в руки такого человека?

— Успокойся, Айгуль. Ты же сама мне говорила, что у Васильчиковой большое сердце, сердце матери. Она еще не вынесла своего окончательного решения.

— Коля ни за что не вернется в детский дом. Ни за что, — сказала Айгуль.

Лушкин молчал. В нем рождалась надежда, тайная надежда...

— Ну, а если... вдруг... Может ведь всякое случиться... Ты хочешь, чтобы Коля стал нашим сыном?

Оттолкнувшись от Кузьмы, Айгуль прямо посмотрела ему в глаза. И ее глаза, прекрасные глаза любимой женщины, сказали ему все.

Так они просидели до начала рассвета, в сущности, думая о своем, родном, общем, прекрасно слыша и понимая друг друга, но уже не говоря об этом ни слова и не замечая, что идет дождь, медленный и теплый. Кузьма очнулся первым и протянул ему навстречу руки...

Здесь, в порту, они и встретились, все, кто ходил на поиски Кольки Гарпунина. Людмила и ребята из детдома тоже пришли сюда, тоже тем же путем, и они увидели силуэты Лушкиных на фоне уже светлеющего неба.

Это был глухой угол речного порта, захламленный, видимо, не первоочередными грузами, с потемневшими от долгого лежания ящиками, окаменевшим цементом в расползшихся бумажных мешках, горами щебня, штабелями труб и какими-то громоздкими железными конструкциями. Все это поросло травой—осокой, лебедой и полынью, и даже между досками, которыми был устлан самый отдаленный от основной части порта причал, тоже прорезалась трава. А метрах в ста — ста пятидесяти отсюда, от этого старого бревна, от этих залежавшихся грузов, стояла глубоко осевшаяся в воду, потому что была уже снаряжена в дальнюю дорогу, самоходная баржа со странным названием, написанным белыми буквами на ее черной корме: «Никольша» — теперь можно было разглядеть и это. Это была та самая баржа, где в шлюпке, укрепленной на палубе по-походному, под брезентовым чехлом еще с вечера упрятался Колька.

Да, рано утром это были их голоса, Колька не ошибся.

Его нашел отец. Какое-то странное, чуть ли не звериное чутье привело Гарпунина сюда. Он долго стоял, разглядывая с берега палубу «Никольши», и взгляд его остановился на обеих шлюпках по правому и левому бортам. И он увидел, что шевелится мокрый брезент, не везде закрепленный в кольца, с остатками дождевой воды на одной из них.

«Никольша» готовилась к отходу. Заработал вспомогательный движок, раздались команды, зазвучали шаги и еще хриплый спросонья молодой голос вахтенного с мостика: он распоряжался работами по отшвартовке.

Отдали кормовой, и тогда Гарпунин, перемахнув в деревянное ограждение причала, оказался на железной палубе самоходки. Его никто не успел остановить. Гарпунин, вцепившись в шлюпочный чехол обеими руками, приподнял его край. На дне шлюпки, свернувшись калачиком, лежал его сын, Колька.

— Колька, Колька, — тихо сказал он, — что же ты наделал?

Корпус баржи задрожал, нос ее начал отодвигаться от причала. Сейчас самоходка уйдет на рейд, и оттуда уже не просто будет вернуться на берег, и надо будет объяснять людям, что случилось с ними двумя — им и его сыном. Гарпунин схватил Кольку на руки и, не чувствуя его веса, а чувствуя только с непонятной, незнакомой ему болью, какой он худой и слабый, пробежав по палубе, прыгнул на причал.

— Ну етит твою мать! — раздалось с мостика самоходки, и она косо, кренясь, подхватываемая течением, отвалила от берега.

Потом они сидели с Колькой на берегу... Гарпунин представил себе встречу со своей теперешней женой — Натальей, когда рядом будет стоять его сын. Он по-прежнему не был уверен, что она была беременна. И он придумал слова, которые скажет ей, появившись с Колькой. Он представил себе, как это должно произойти. «Нет, ты не сможешь иметь своих детей. Десять лет не было ничего, пусть тогда будет этот...» А не примет — станем жить с Колькой вдвоем.

А Колька плакал, уткнувшись лицом в жесткое колено отца.



Старик Высотин отдыхал. Окна его мастерской были открыты, в них лился теплый воздух, еще несущий запах весны: привкус снега и грустный дух отцветающих яблонь.

Высотин полулежал в своем неколебимо прочном и мягком кресле, за несколько десятилетий принявшем форму его тела — большого и грузного.

Что-то в нем остановилось. Мысль его не текла дальше, не суетилась, он был весь здесь, весь в этом кресле и в этой мастерской, среди своих полотен, красок, среди этого организованного самим собой за годы работы и сосредоточенных раздумий, беспорядка. Сам Высотин не замечал беспорядка, и он ему виделся как раз тем беспорядком, в котором ему было удобно и привычно жить и работать и так же, как сейчас вот, думать.

Последняя сделанная им вещь — полотно «Выздоровление» стояло перед ним на тяжелом мольберте, и он время от времени подымал на него пристально-внимательный взгляд. Ничего подобного никогда он еще не создавал. Нельзя было сказать, грустными были его мысли или радостными, не тот был возраст у Высотина. Он просто думал трезво и спокойно о том, что если бы ему случилось выбрать самое главное, что создано им за всю творческую жизнь, он бы — и теперь он это знал точно — оставил бы именно это полотно. А все прошлые, кроме разве тех, что были написаны им в юности, он считал долгой и трудной дорогой к этому, в общем-то, небольшому холсту. И с трезвостью, свойственной его возрасту и человеческому и художественному опыту, он понимал, что его неумолимо тянет еще раз увидеть человека, который побудил его написать этот холст.

Прежде, стоило только чуть-чуть утихнуть чувству гордости, чувству восторга, который приходил к нему после удачно завершенной работы, как каким-то необъяснимым, внутренним зрением, существом своим он начинал видеть перед собой новое полотно, новое дело, а только что законченное словно уходило в туман.

Сейчас он такого не испытывал. «Господи, — подумал Высотин, — как будто бы конец всему. Да не умирать ли я собрался?» Но он испытывал удивительное: спокойно и молодо было в его душе.

Он понимал, что если бы он написал портрет, же-

ление увидеть свою модель и еще раз сравнить ее с тем, что получилось на холсте, было бы естественным. Теперь же его желание увидеть тех людей, да, именно людей — Айгуль и Лушкина, а не одну только Айгуль, — имело какой-то другой и очень важный смысл. Ему казалось сейчас, что только на семидесятом году своей жизни, он, наконец, нашел то, что искал. Он нашел свою дорогу, он чувствовал, что только теперь он начал точно выражать свое понимание смысла жизни, и это понимание принесли ему двое этих людей.

Высотин боялся, что они не поймут происшедшего, не поймут, что видит он в этом ветвистом и загадочном дереве, с откровением тянущемся к первым лучам солнца.

Он много лет мало заботился о том, как примут его живопись, выставят ее или не выставят на обозрение, но много лет он не испытывал такого волнения, как сейчас. И он не знал, что сделать, чтобы показать им, только им двоим, эту свою работу. Казалось бы, просто, как он хотел сначала, попросить их прийти в мастерскую, а для этого — самому сходить за ними (он помнил, где они живут). Но это было бы не то. А еще смешнее выглядел бы его поход к ним с картиной, которую в руках-то и нести неудобно. И совсем нелепо было бы явиться с ней в Дом культуры завода.

Мария Павловна — жена его — чувствовала, что с Высотиным происходит что-то такое, с чем не сталкивалась она никогда, чего еще не знала о нем. И она растерялась.

Высотин трое суток не выходил из своей мастерской. Потом, он, наконец, вышел и поздно вечером отправился по совершенно безлюдной улице, постукивая по асфальту своей массивной тростью из мореного дуба. Он добрал до самой набережной и вернулся домой к полуночи.

Когда началась Великая Отечественная война, Высотину шел пятьдесят третий год. Незадолго до этого он перенес инфаркт и первые несколько дней не видел себе применения в условиях войны. Но вдруг словно прозрел, когда явился в военкомат. Просьбу его удовлетворили. Недели на него хлопчатобумажную красноармейскую форму и даже повесили по два треуголь-

ника в петлички на воротнике. Но то ли судьба хранила Высотина от испытаний, то ли те, кто формировал резервную дивизию, понимали значение Высотина для этого края, — его оставили при местном Доме офицеров художником.

Высотин носил мешковатую форму, неумело намотанные обмотки и продолжал жить дома, а не в казарме, и каждое утро ходил на военную службу, как ходят люди в гражданские учреждения. Ходил, нелепо козыряя встречным командирам, но настолько необычной была его фигура — выглядел он со стороны как переодетый генерал на рекогносцировке, — что патрули, встречавшиеся изредка на пути, ни разу не остановили его и не спросили документов. И более: случилось так, что молоденький патрульный лейтенант в коверковой гимнастерке и в синих с кантами бриджах, новенький и опрятный, весь сгруппированный, как винтовочный патрон, козырял ему первым, и Высотин еще некоторое время удивлялся, с чего бы это.

Первые месяцы ушли на обживание новой одежды, новых отношений. Начальник Дома офицеров, страдающий астмой, лысый, узкогрудый политрук, — на его петлицах висело по одной шпале, а на рукаве над шевронами посверкивала в золотой канители алая звездочка политработника, — обязательно раз в день спускался к нему в полуподвальное помещение — попить чайку и поговорить на штатские темы. Он почему-то считал — и Высотин понял это сразу, — что военные разговоры не для художника.

Высотину отвели отдельный угол рядом с продолговатым помещением, именуемым цехом, где работала целая бригада плакатописцев, оформителей — разношерстная публика, собранная со всего края, разная по возрастам, по знаниям, по характерам. Они там пили, строгаи, сколачивали подрамники и щиты, громко говорили, и постоянный гул, как из машинного отделения теплохода, доносился в мастерскую Высотина.

Начальник Дома офицеров время от времени неодобрительно косился на стенку, за которой шумели, но замечаний не делал, шум этот был неизбежен.

Высотин имел полную возможность заниматься тем, чем он занимался до призыва на военную службу. Но он долго не мог освоиться с новым своим положением,

чувствовал себя не у дела, казался себе дармоедом и ненужным человеком. Кисти валялись из его рук, и ничего путного он создать не мог. К творческой жизни вернул его все тот же политрук.

— Идет война, товарищ Высотин, — сказал он однажды. И это были первые его слова о войне здесь, в мастерской. — Вы знаете, что такое война? Это смерть, кровь, боль и ненависть. Но самое трудное на войне — помнить о доме, о родной своей земле. Самое трудное на войне — тоска, особенно на такой войне, как эта. Пишите ваши пейзажи. Сейчас становится все труднее с красками. Москву бомбят, Ленинград в блокаде. Но я из-под земли достану для вас все, что нужно. Пишите ваши пейзажи, а мы будем дарить их нашим дальневосточным дивизиям, готовящимся уходить на войну. Госпиталям дарить, где лежат фронтовики. Домам офицеров.

И Высотин словно проснулся. Он работал до изнеможения. Он научился писать маслом даже при электрическом свете, чего избегал в прежние времена.

Высотин не помнил всех своих полотен, написанных тогда, но он помнил то время, как время высочайшего напряжения физических сил, духа, — весомого свидетельства пережитых им военных лет у него не было. Он не записывал номера дивизий и частей, куда поступали его картины, старался хранить их в памяти, а потом забыл.

Сейчас, когда он сидел у своего последнего полотна, он вспоминал и то военное время, но вспоминал его вот так, как вспомнил, и ничего больше. Столько лет он, почти не выбиваясь из колеи, работал в одном направлении. Год или два назад его потрясла книга крупного писателя, известного во всех уголках страны, а может быть, даже и мира. В ней рассказывалось о судьбе человека, разделившего со своей страной все: горе, радость, снова горе, и снова радость и прошедшего, наконец, к прозрению, и какой-то высочайшей мудрости.

И, странное дело, ни участие Высотина — маленькое, даже крошечное и необычное — в прошедшей войне, ни его личный опыт, ни рассказы друзей, а именно это произведение известного писателя, герой которого уже не воспринимался литературным героем, а словно

бы существовал на самом деле, и приоткрыло ему правду жизни на войне. А судьбы этих двух людей — Айгуль и ее мужа Кузьмы, живущих тоже страстно и трудно, сделались для него откровением. Он еще многого не знал о них, но он был убежден в одном: сколько бы ему ни осталось на свете времени, иного пути у него — без них — быть не может.



ОТ АВТОРА

Метод художественного исследования предполагает показ жизни через наиболее типические явления времени и его героев. У меня же случилось так, что главными героями новой повести стали люди исключительной судьбы и исключительных обстоятельств. Это — глухая с детства узбекская девушка Айгуль, пострадавший на войне Лушкин, это одиннадцатилетний воспитанник детского дома Колька, которого бросил в самую доверчивую пору детства его отец Илья Гарпунин...

Хотя мне, человеку, чья юность и молодость пришлись на годы первых пятилеток, хочется сказать, что эти мои герои и не кажутся мне людьми исключительных судеб. Для меня они люди поколения, у которых мерилom жизни и преданности своей стране и народу стала Великая Отечественная война. Кому-то она предъявила более суровый счет, чем большинству, кто-то не вернулся с фронта, а кто-то пришел оттуда покалеченным, и ему пришлось по крупицам собирать себя, мобилизуя на это силы физические и духовные, чтобы не отстать от окружающих, чтобы не доживать оставшуюся жизнь, вызывая лишь сердоболие и сочувствие, а жить, как живут все, кто рядом с ним. Это касается Лушкина. И обычным для меня в его судьбе видится то, как он выкарабкивался из одиночества, порожденного его бедой, как выходил к людям. Именно в этом его особая притягательная сила, особый магнетизм, что ли, его личности.

То же самое я могу сказать про Айгуль. Время подвергало серьезным испытаниям мое поколение не только на войне, особыми приметами было отмечено и наше детство — поиском новых путей-дорог, и на одной из дорог жизни она пострадала...

Трудно сказать, как рождался замысел «Теплого дождя». Меня всегда восхищала феноменальная особенность наших людей в любых условиях и обстоятельствах жить не только для себя или, лучше сказать, не столько для себя. Крыльями времени моего поколения была готовность строить и жить во имя будущего, стремление ускорить наступление этого будущего настолько, чтобы и собственной жизни хватило увидеть его воочию. И в этом я вижу единство личности и общества.

В середине 30-х годов я учился в Томском индустриальном институте. В нашей 415-й группе механического факультета учились пять глухих парней. Они сидели в аудиториях вместе с нами. Лекции, практические занятия усваивали при участии переводчицы. Сначала нам не верилось, что они сумеют выдержать до конца курс обучения и достичь чего-то. Но, проявив завидную силу воли и желание быть наряду со всеми, они показали удивительные знания и способности и в конце концов стали прекрасными инженерами. Вот, наверное, тогда, еще в те студенческие годы, и зародилась у меня мысль рассказать о том, как человек становится человеком.

Потом был еще «толчок». Не каждый может понять мое состояние, которое я пережил, попав однажды на концерт глухих. Вдумайтесь только: концерт глухих!.. Но это не было жалкой пародией на концерт, это была форма общения пострадавших людей с миром искусства, с миром остальных людей, за этим стояли огромная сила воли, самодисциплина, надежда и вера в свои силы и способности. Однако, признаюсь, смотреть все это и слышать мне было трудновато... И я вновь сказал себе, что обязательно напишу о таких людях.

У каждого времени свои крылья, свой корень, своя главная мечта. Но есть люди, которые объединяют эти времена, как бы соединяют прошлое с настоящим и грядущим. Это люди, наивысшие нравственные достижения которых становятся их образом жизни, и хотят они или не хотят, задумываются над этим или нет, они передают эстафету нравственности. Такие люди живут обычно дольше своего физического века.

И еще мне хотелось в своей повести коснуться — только коснуться — проблемы взаимоотношения взрослых и детей. Так получилось, что последнее время наша педагогика озабочена главным образом тем, чтобы научить подрастающее поколение добиваться конкрет-

ных целей: стать тем-то или тем-то, открыть то-то или то-то... А между тем тысячелетия уже человечество видит свой долг в том, чтобы воспитывать в нарождающемся поколении силу духа. Задуматься над этим мне помогла директор одного из детских домов моего родного города, работавшая здесь после войны. Эта женщина, не обладавшая даром сладкоречия, умела рождать в своих воспитанниках неукротимую жажду к познанию жизни «без прикрас», чувства справедливости и доверия. С присущей ей прямоотой она мне говорила, что народ это не только сумма людей... Если каждому найти предназначенное ему место в жизни, помочь увидеть главное в себе, — а такие времена наступят, — мы увидим, что не бывает неполноценных людей, что народ состоит из самородков, и это одно из чудес нашего советского образа жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая	• • • • •	8
Глава вторая	• • • • •	8
Глава третья	• • • • •	13
Глава четвертая	• • • • •	17
Глава пятая	• • • • •	26
Глава шестая	• • • • •	30
Глава седьмая	• • • • •	34
Глава восьмая	• • • • •	39
Глава девятая	• • • • •	43
Глава десятая	• • • • •	46
Глава одиннадцатая	• • • • •	51
Глава двенадцатая	• • • • •	55
Глава тринадцатая	• • • • •	58
Глава четырнадцатая	• • • • •	65
Глава пятнадцатая	• • • • •	72
Глава шестнадцатая	• • • • •	75
Глава семнадцатая	• • • • •	84
Глава восемнадцатая	• • • • •	91
Глава девятнадцатая	• • • • •	96
Глава двадцатая	• • • • •	104
Глава двадцать первая	• • • • •	111
Глава двадцать вторая	• • • • •	117
Глава двадцать третья	• • • • •	122
Глава двадцать четвертая	• • • • •	129
Глава двадцать пятая	• • • • •	136
Глава двадцать шестая	• • • • •	142
Глава двадцать седьмая	• • • • •	150
От автора	• • • • •	155

Виктор Николаевич Александровский

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Редактор И. В. Жолондзь

Художественный редактор А. Н. Посохов

Технический редактор Н. Б. Хохлова

Корректор О. В. Коренькова

ИБ № 918

Сдано в набор 21.06.82. Подписано к печати 19.07.82. ВЛ 04732. Формат 84X108¹/₃₂. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. 8,40 усл. печ. л. 8,76 уч.-изд. л. 8,66 усл. кр.-отт. Тираж 30 000 экз. Заказ № 5195. Цена 55 коп. Хабаровское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 680620, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31. Типография № 1 краевого управления издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.

Александровский В. Н.

**А 46 Теплый дождь. Повесть. — Хабаровск: Кн.
изд., 1982 — 160 с.**

**В центре повести люди высокой нравственной силы и чистоты —
глухая с детства узбекская девушка Айгуль и вернувшийся с войны
инвалидом солдат Кузьма Лушкин. Встретившись в городе на Амуре
и полюбив друг друга, они обретают большое человеческое счастье.**

**А 4702010200—51
M160(03)—82**

P2

ББК 84.3

55 коп.

